ИВАНОВ-РАЗУМНИК

ЗАВЕТНОЕ

О КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

СТАТЬИ 1912—1913 г.г.

165125

«ЭПОХА» ПЕТЕРБУРГ 1922

Р Ц № 103. 3 000 экз.

1-я тип. Главн. Упр. Гос. Изд Петроград, Б. Болотная, 10.

I

ЧЕРНАЯ РОССИЯ

ЗАВЕТНОЕ.

На берегу заветных волн...

„На берегу пустынных волн",—сказал поэт. Но все мы, малые и великие, не в пустыне строились; все мы черпали из заветного источника жизни и литературы. На берегу заветных волн стояли мы в пред-революционные годы, с любовью к прошлому, с верою в настоящее, с надеждой на будущее. Разное любили мы, по разному верили, на разное надеялись, но в этой любви, вере и надежде было одно общее, неизменное, вечное: настанет час — „заветное кольцо" коснется чела усыпленной жизни—„и тайных чар исчезнут силы"..

„И час настал". Если были ожидавшие сладкой идиллии (а было их не мало), то духовно пали они перед горькой трагедией. Ожидавшие духовного переворота—не дождались; чаявшие чуть-ли не немедленного хилиазма—обманулись. И после громадного социального сдвига—мы снова на берегу „заветных волн", старых заветных волн незнакомого нового берега.

И в этом нет для нас разочарования, ибо никогда не ждали мы чуда духовного пре-

ображения наряду с делом социального перерождения. Преображение вечно идет,—„но в тишине, но в тайне"; перерождение приходит бурно и стремительно,—„в грозе и буре". Но слеп и глух тот, кто не видит за этой социальной бурей—духовной грозы, кто не слышит голоса валов „заветных волн", кто не чувствует взволнованных слов поэта:

Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей мятет,
И рад-ли ты, или не рад—
Не спросит он... Вперед, вперед!..

Вихрь этот чуялся еще перед грозой, в годы гнетущего затишья, когда тяжелая свинцовая пелена давила заветные волны русской жизни и литературы. Ибо вечно-текущая жизнь эта искони шла под знаком грозы и бури.

„На берегу заветных волн" русской жизни и литературы жили и писали все мы в медленные предгрозовые годы. Написанное мною тогда соединяю я теперь в две книги, „*Заветное*" и „*Скифское*" — не только потому, что первая тесно связана с журналом „Заветы" (1912—1914 гг.), а вторая—со сборниками „Скифы" (1916—1918 гг.). „Заветное"—говорит о вечном прошлом в русской литературе, о тесной связи нашей с исторической культурной традицией; „Скифское"—о вечном будущем, о духовной революционности, о стихии максимализма в русской душе. „Заветное преданье"—почва для упора; „скифская" непримиренность—новое творчество.

Без одного—немыслимо другое. Без „заветного“ бесплодно „скифское“, без „скифского“—мертво „заветное“. Вот почему крепко спаяны мы с исконными ценностями мира старого и разрушаем его преходящие ценности во имя творчества мира нового; вот почему „скифская“ духовная революционность сочетается с твердым приятием „заветного“ в прошлом:

Да сохранится же заветное преданье[1].

Ибо без заветного преданья нет и скифского творчества. А нам—равно дорого и одно и другое.

1922 г.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА „ДЕСЯТЫХ ГОДОВ".

I. Русская литература в 1912 году.

I.

Переоценивать прошлое и недооценивать настоящее — вечная судьба почти всех современников. И это—грех не одних только брюжжащих на все молодое и непонятное старцев, вечно охающих, вечно восхваляющих свое время. Нет, критики всех возрастов и всех времен охотно проливают критические слезы „на реках вавилонских" современной литературы, вспоминая былую славу ее и сетуя на скудость и бедность ее в наши дни. Почти все „новогодние обзоры" литературы, почти все они и всегда—только своеобразное критическое „седохом и плакахом" с высоты критических берегов. А река литературы течет себе—по прежнему полноводная, богатая, единая, живая...

Критики на берегах — всегда плачутся на оскудение живой воды творчества, на заторы, на обмеление. И вот что характерно: чем богаче, чем полнее литература эпохи, тем сильнее, тем горячее жалобы критики. Никогда, кажется, не было таких воплей и слез об ос-

кудении русской поэзии, как в тридцатых годах, еще при жизни Пушкина. Сам Белинский в сороковых годах, при жизни Гоголя, говорил об упадке современной ему русской литературы. В шестидесятых и семидесятых годах раздавался постоянный критический плач о литературном оскудении—особенно в области романа и повести; это было в эпоху появления „Войны и мира", „Преступления и наказания", „Анны Карениной", „Братьев Карамазовых"... В майской книжке „Вестника Европы" 1868 г. была помещена. например, заметка М. Стасюлевича о появившемся тогда четвертом издании „Обыкновенной истории" Гончарова. „Роман не новый,—писал критик.—но в наше скудное на беллетристику время можно справедливо сказать о нем, что старый друг лучше новых двух. Каким образом мы пришли к современному состоянию изящной литературы, имея пред собою замечательные образцы в недавнем прошедшем,—это составит любопытную задачу для будущего историка нашей современной литературы"... Каким образом можно было притти к такому суждению. имея перед глазами „Войну и мир" Толстого--разве это не интересная задача для историка литературы той эпохи?

Задача, в сущности, не головоломная; она, как видим, относится ко всем временам, ко всем эпохам. И решение ее зиждется на психологической почве: „недоценивать настоящее"—общая участь почти всех людей, и притом далеко не в одной лишь области литературы. Ценить настоящее—самое трудное из всех велений жизни. Человек склонен на-

деяться на будущее и вздыхать о прошлом; но понять, что вот именно в эту минуту, в это мгновение *я есмь*, что скоро об этой минуте я буду вздыхать, как о „прошлом", что именно в этом миге настоящего заключено оправдание, быть может, всей моей жизни—понять это труднее всего. Так в жизни, так и в литературе. Труднее всего оценить в настоящем то, что скоро будут все ценить в прошлом; труднее всего отметить в *критике* то, что войдет современем в *историю литературы*. Гораздо легче плакаться горько на реках вавилонских.

Плачут наши критики по двум разным причинам: одни—потому, что в современной литературе все бесталанно; другие—потому, что в ней все одинаково талантливо... Типичными представителями этих двух соприкасающихся полюсов являются в настоящее время два старых критика: г. Виктор Буренин и г. Антон Крайний, оба со своими оруженосцами. Эти два витязя совершенно не похожи друг на друга, взаимно враждебны, резко различны, полярны, как „да" и „нет" в электрическом стихотворении г-жи Гиппиус:

То „да" и „нет" не слиты,
Не слиты—сплетены.

Они отрицают друг друга и в то-же время тесно связаны друг с другом. Все в них различно. Виктор Буренин—престарелый „критик", вот уже полвека неукоснительно на всех лающий; Антон Крайний — не столь старый, еще серебряного юбилея не справил. Виктор

Буренин—„критик“ в кавычках, Антон Крайний—критик без кавычек. Виктор Буренин—реакционер; Антон Крайний—даже до чрезвычайности старается быть самым что ни на есть „крайним левым“ и тем оправдать свое имя. Виктор Буренин—человек отсталый от жизни, от литературы; Антон Крайний очень хочет быть самым. самым „передовым“ (а кто впереди, тот—вождь). Наконец, — „докудова разность!“—Виктор Буренин—мужчина; Антон Крайний—дама: г-жа Зинаида Гиппиус, сама давно открывшая свой псевдоним. Разница, как видите, во всем, и существенном, и несущественном. Но есть между ними и нечто общее, соединяющее их неразрывной связью: их отношение к значению современной русской литературы.

Оба они (а также их литературные вскормленники) всегда танцуют от одной и той же печки: от признания полнейшей пустоты, бесцельности, никчемности современной русской литературы. Они стараются сделать вид, что это вывод, к которому они приходят; в действительности-же это их затаенная предпосылка, из которой они исходят. Критические па они при этом выделывают разные, но дружно и согласно приходят от общей предпосылки к общему выводу. Буренин-Жасминов уже много десятков лет все лучшее в современной ему литературе обливает грязью, считает бездарным, бесталанным, ничтожным, а потому и бесцельным, никчемным; современной русской литературы для него вовсе нет, есть лишь пустое место. Гиппиус-Крайняя, наоборот, решительно все в современной

литературе готова признать талантливым, даровитым, очень милым. а потому именно и никчемным, бесцельным. Все таланты—но ни у кого нет почвы; все даровиты—и все „без позиций“.. А если так, то разве не пустое место наша литература? Разве она—не рассыпанная храмина? И как-же не плакаться тогда восседающим на критических берегах реки литературной?

Странное дело! Стоит всем таким плакателям (а им несть числа) оглянуться на прошлое. как тотчас они вместо пустого мертвого места видят живое и связное целое, вместо милых талантиков видят большие и связанные с жизнью таланты. вместо рассыпанной храмины видят вековой храм русской литературы. Особенно поучительно наблюдать это на празднованиях литературных юбилеев; их, кстати, было очень много в минувшем году, и значительных. и ничтожных. Столетие со дня рождения Герцена; столетие со дня рождения Гончарова; тридцать пять лет со дня смерти Некрасова; семидесятилетие со дня рождения П. А. Кропоткина; печальный сорокалетний юбилей литературной деятельности Мамина-Сибиряка, накануне его смерти; веселое двадцатипятилетие литературной деятельности И. Бунина; чествование и всеобщее признание К. Бальмонта, и еще бесчисленное количество больших и малых юбилеев.

Всякий юбилей, как известно из литературных прописей, есть повод оглянуться на прошлое,– либо на творчество здравствующего юбиляра, либо на весь минувший век,— и сравнить его с настоящим. И вот эти

„либо — либо“ всегда сталкиваются лбами. Чествуя живого юбиляра, его превозносят в речах и статьях, всегда готовы в увлечении стулья ломать, признают его (кто-бы он ни был, лишь бы „юбиляр“) подлинным и большим талантом русской литературы. А так как таких юбилеев ежегодно бывает не мало, то, стало быть—славу Богу!—немало в нашей литературе больших и подлинных талантов! Но подождите: это только до первого большого „векового“ юбилея. Сто лет тому назад, например, родился Гончаров—и, чествуя его память, вчерашние хвалители обращаются в плакальщиц и скорбно сетуют на современный упадок нашей литературы по сравнению с величием прошлого...

На празднествах минувшего года можно было наблюдать обе эти картины: и неумеренные восторги на юбилеях наших современников, и неуместную печаль о настоящем на юбилеях наших предшественников. И то, и другое одинаково неверно, ибо как раз и беллетристы-юбиляры минувшего года не могут вызывать особенных восторгов, и еще больше не может вызывать печали современное положение русской литературы.

II.

Конечно, я знаю: русская литература разбита на партии и направления, друг друга отрицающие, друг друга поедающие; все несвязно, все разрозненно, как в рассыпавшейся храмине. Вот в одном углу почтен-

ные ветераны от литературы, в роде П. Боборыкина, неустанно изливают скорбь свою о падении современной беллетристики, о пагубном направлении вкусов молодежи, о том, что „ничего понять невозможно". Прочтите в № 9 „Вестника Европы" за минувший год повесть П. Боборыкина „Грядущее" — там это очень определенно выражено. Правда, речь идет там не о литературе, а о жизни, но что же может отражать литература той жизни, в которой понять невозможно ничего? И сам автор, от лица серой героини своей повести, реторически вопрошает: „неужели и я, на повороте к печальному доживанию, приду к такому выводу, *для всех и для всего*: прошлое—бесплодное, настоящее—подлое, будущего—никакого. Это был бы один ужас!" Ужас или не ужас, а факт налицо: этот вывод, в его применении к настоящему русской литературы, много уже раз высказывался почтенными нашими ветеранами от литературы...

Но это только один уголок нашей литературной храмины. В другом углу собрались люди, которым решительно все в литературе, и прошлой и современной, решительно все понятно до тонкости. Есть у них свой универсальный аршинчик, которым они с одинаковой легкостью и бодростью духа измеряют и литературу, и собственный рост, и расстояние между звездами. Это — ветераны и эпигоны марксизма, с безнадежно упрощенным и уплощенным социалистическим методом в руках. До какой плоскости мысли доводит этот аршинчик, можно видеть хотя бы из вы-

шедшей в минувшем году книжки г. Переверзева о творчестве Достоевского. Но за то люди, довольствующиеся этим аршинчиком—самые счастливые люди на свете: им все понятно, решительно все,—елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею... В частности, современная русская литература понятна им до тонкости: литература эта есть проявление духа или разлагающейся буржуазии, или еще сильной буржуазии, или растущей демократии. А раз художник попал в одну из этих рубрик, то стало быть, что же дальше непонятного? Так и г. Переверзев в своей книге: определил героев Достоевского словом „упадочное мещанство"—и доволен. Чего ему больше? Он понял Достоевского!

В третьем углу собрались обломки старого „декадентства", уразумевшие всю тщету былого чистого эстетизма и схватившиеся кто за что: кто за православие, кто за теософию, кто за иные формы религии. Очень пестрая и смешанная группа эта отличается, однако, одним общим свойством: сердитым или снисходительным презрением ко всему, что „не они" Эта начальная форма мании величия не мешает им признавать друг в друге великие таланты и подлинную гениальность. А потому и вопрос о современной литературе для них ясен: литература—это они и только они; они цель всего предшествующего и зерно всего будущего. Они группируются в религиозно-философских обществах Москвы и Петербурга, в теософических кружках и собраниях. Общества эти во многих отношениях

так занимательны для наблюдателя, что я еще вернусь к ним на этих страницах...

Этих групп, кружков и „углов" современной литературы так много, что еще долго можно перечислять их и описывать. Их десятки, и все они ведут между собой bellum omnium contra omnes. Здесь твердокаменные „реалисты" пытаются оградить себя (и неудачно) от влияния и вторжения ненавистного „модернизма"; тут былые „модернисты" обращаются к „реализму" и спорят о словах, не определив их смысла; там наследники „декадентов" ищут новых путей в религии, в народе, в общественности. И все в жестокой борьбе со всеми, все воюют друг с другом,— и инде реалист гнет модерниста, а инде мистик гнет реалиста... Сюжет, достойный кисти Карамзина. Это ли не рассыпанная храмина русской литературы?

Все это так. Но вот вопрос: *когда же этого не было?* Другие были партии и группы, в других формах выражались верования и сомнения, но по существу русская литература для наблюдателя своего времени всегда была рассыпанной храминой. Ведь этим и только этим об'ясняется то *отрицание самой русской литературы*, которое началось еще раньше Белинского и докатилось до самого, извините, Антона Крайнего. „У нас нет литературы", — говорят и говорили они. Литераторы есть, литературные партии и направления есть,— литературы, как органического целого, нет; есть лишь рассыпанная храмина имен и произведений. Но стоило наиболее зорким из этих отрицателей внимательнее вглядеться в

прошлое, чтобы понять и настоящее русской литературы, чтобы на месте рассыпанной храмины увидеть вечно созидающийся храм. Минувший год литературы всегда так скуден, так печален! Минувшие годы—два, три, пять—дают уже иную картину, а за десятилетие можно, пожалуй, воссоздать и главные линии развития формы и духа современной литературы. Из разных литературных групп, от разных взаимно-враждебных направлений стекаются подлинно художественные, подлинно связанные с жизнью произведения и вливаются в единую, вечно живую реку русской литературы... Так было — так будет, и именно потому не стоит никогда верить литературным плакальщицам, которые по профессии так и сидят вечно на реках вавилонских...

III.

Вот и по поводу минувшего литературного года, — я уверен, — многие из восседающих на критических берегах будут сетовать и плакаться на скудные итоги, на печальное бесплодие, на оторванность литературы от жизни. Им хотелось бы, чтобы у нас ежегодно появлялось — по „Евгению Онегину", по „Войне и миру", по „Анне Карениной". Ах, если бы они кстати помнили, что их духовные предки называли в свое время „Евгения Онегина" — пустой болтовней, „Войну и мир" считали романом, который „через год забудется", а в „Анне Карениной" видели только пошлый протокол романа распутной светской дамы с глупым флигель-ад'ютантом!

Конечно, в минувшем году у нас не появилось ни „Евгения Онегина", ни „Войны и мира". Впрочем, на их амплуа могли метить два романа, с которых я начну свой обзор: на роль „Евгения Онегина" — повесть в стихах г-жи Поликсены Соловьевой „Перекресток", а на роль „Войны и мира" — законченный в минувшем году роман Д Мережковского „Александр I". Авторы их, конечно, не дерзали думать о таком слишком тяжком сопоставлении; но и я привожу его не серьезно, не по существу.

Стихотворная повесть П. Соловьевой прошла совершенно незамеченной,—и нельзя сказать, чтобы она не заслуживала этого. Слишком много претензий,—в том числе и претензий на пушкинскую простоту,— и слишком мало осуществлений. Вот произведение, к которому очень подходят все обычные причитания Зинаиды-Антона-Гиппиус-Крайней: талантливо, недурно и никому не нужно. Просто пустое место. Но поговорить о нем следует, хотя бы по одному тому, что услужливые друзья выдвигают г-жу П. Соловьеву на одно из вакантных мест „почетного академика"... Плохую они этим оказывают ей услугу. Милой поэтессе для детей (а детские стихотворения у П. Соловьевой есть премилые) не под силу более тяжелая ноша; скромно, не выдвигаясь из вторых рядов, она продолжала бы свой тихий, интимный труд. Но нет, захотелось написать „Евгения Онегина". И получилось пустое место, читая которое с досадой повторяешь старые слова:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышут?
А если и случалось им,
То мы их слышать не хотим ..

С кого портреты пишут—это теперь секрет полишинеля. С недавних пор так повелось среди наших романистов: выводить не типы, а живые фотографии, снятые с друзей, знакомых, товарищей-литераторов. Опишут друг друга в своих романах и поэмах—и премного довольны Есть эта черта и в повести П. Соловьевой; но она хоть не тычет пальцами в живых людей, не подписывает имен под своими героями—и на том спасибо!

Но не в этом дело, а в самой „сути" поэмы „Перекресток". Это—перекресток путей современной женщины, путей ее любви: это осуждение вечных форм любви и поиски новых. Надо познать любовь и отречься от нее в поисках новой любви, бесплотной, ненайденной. Одна героиня повести, Мара, едва не гибнет на путях старой любви; другая, Ата, сестра ее, ищет новых путей, не пройдя через старые. И только в конце она начинает понимать:

Кто рушит старые устои,
Чтоб звать на новые пути,
Тот должен пить вино земное
И чрез огонь земной пройти.
Но на путях, где я блуждаю,
Не пьют багряное вино.
И лишь теперь я понимаю,
Что мне—свершений не дано...

Читал я все это, и думал: неужели же в этом—трагедия современной женской души? И неужели автор не понимает, что не только

„свершений не дано“ его героине, но что ее нет вовсе, что она—пустое место в жизни? И как было не понять, что повесть о пустом месте сама легко может оказаться пустым местом? А что касается частностей, то как было не испугаться мысли пародировать „Евгения Онегина“, — обед и бал у Лариных? И как можно было, пытаясь писать в пушкинских тонах, оставлять в повести многочисленные корявые строфы в таком, например, роде:

И зверь во тьме людских сомнений
На многое бросает свет.
Развития нет без движений,—
Истории у зверя нет.
А люди ищут перемены,
Им бунтовать Сам Бог велит
Ведь перемена – враг измены,
Она историю творит.

Нельзя так писать в 1912 году. Нельзя также стоять на том, что спасение мира—в преображении пола: ведь это тоже корявая мысль, головная и бедная. И кто сказал вам, что мир надо *спасать?* Вот величайшее из всех возможных кощунств! Не спасать мир надо, надо самому миром спасаться; в мире — спасение человека, а не в человеке спасение мира.

Милой и талантливой поэтессе для детей не удалось написать „Евгения Онегина“. Как редко люди сознают свои силы, и как редко умеют ценить в себе то, что подлинно в них ценно!

Не удалось и Д. Мережковскому написать „Войну и мир“. Его „Александр I“ — очень старательно и искусно сделанное произведение; но оно не может изменить в чем либо

то мнение, которое каждый имеет об авторе этого романа. Мне тоже приходится только подтвердить свое отношение к Д. Мережковскому, высказанное в большой статье „Мертвое мастерство“ *). Это очень крупный писатель с мертвой душой, писатель-мертвец, который хочет и не может воскреснуть. Безнадежно стучится он в сердца всего живого,— в сердце „народа“, в сердце „интеллигенции“,— но двери живого вечно закрываются перед ним, ибо стучится он в них не с живым делом, а с мертвым словом. „Народ“, „интеллигенция“, „религиозная общественность“, „святая плоть“—все это в устах Д. Мережковского только словесные схемы, только ледяная игра разума; чтобы претворить мертвое слово в живое дело, надо уметь *любить* человека, любить людей, ибо только способностью любви отличается духовно живое от мертвого. Великая любовь к человеку — это как раз то, чего нет и не было у Д. Мережковского; и, сознавая это, он в отчаянии хватается за мертвые словесные схемы, ищет в них спасения. Много переменил он их на своем веку; последняя его схема—„религиозная общественность“, мертвое, холодное построение ума, оторванное от делания, от жизни, от любви. Эта словесная схема легла и в основание романа „Александр I“, а потому и рецепт приготовления его, идейную сущность его можно было предсказать заранее. Д. Мережковскому надо было взять декабристов и показать, что их „общественность“ обречена

*) В книге „Творчество и Критика“.

была на неудачу оттого, что она не была „религиозной". Другая задача романа—вскрыть трагедию „самодержавия" в его связи с „православием": тоже одна из словесных схем Д. Мережковского.

Еще раз повторяю: Д. Мережковский—крупный писатель, и роман его—крупное литературное явление минувшего года; о нем следовало-бы поговорить особо и подробнее Здесь важно подчеркнуть только одно: роман этот—произведение не живого художественного творчества. а искусного мертвого мастерства. „Д. Мережковский не в силах воссоздать *живой* образ,—это может только подлинный творец; Д. Мережковский может только, подобно Сальери, „раз'ять как труп" историческое лицо, и с кропотливым мастерством начать прикладывать льдинку к льдинке, цитату к цитате, историческую фразу к фразе. И это он делает подлинно с большим мастерством".. Так пришлось мне сказать о Д. Мережковском в отмеченной выше статье, и то же самое надо повторить и о новом его романе, произведении в своем роде очень замечательном... Но если пытаться подыскать самый резкий контраст „Войне и миру" Толстого, то это именно романы Д. Мережковского, в частности—„Александр I": это не контраст великого и малого, а непереходимая пропасть живого и мертвого в русской литературе.

IV.

Где же было это *живое* в литературе минувшего года, живое, хотя бы и малое, лишь бы не великое, да мертвое? Там *живое*. где подлинное *художественное творчество*; а творчество это ни логикой не вскрывается, ни словесными схемами не доказывается. В минувшем году появился, например, „Хаджи-Мурат“ Толстого, несомненно, величайшая без сравнения вещь всего года; как доказывать, что это подлинно живое художественное творчество великого писателя? Кто этого не чувствует, тому как доказать? Так и в тех произведениях минувшего года, о которых я буду сейчас говорить: надо уметь почувствовать аромат художественности, читая *их*, а не критику на них... И здесь, в кратком обзоре, я могу только высказать свое мнение, а не доказывать и не обосновывать его

Много живого и радостного дал русской литературе минувший год в области „поэтического творчества“. Среди сотен (буквально!) стихотворных сборников и рифмованной макулатуры радуют и новые книги уже не новых поэтов, и книги впервые выступающих писателей. „Cor ardens“ Вяч. Иванова, закончившееся собрание стихов А. Блока, впервые собранные в двух томах стихи Ю. Балтрушайтиса („Земные ступени“ и „Горная тропа“), „Зеркало теней“ Валерия Брюсова, кое-что из книг других поэтов — все это только новые струи вечно живой реки русской поэзии, которые никогда не иссякнут:

Еще в великом зное Бога
Не все пылание зажглось,
И в далях праха много, много
Никем не вспаханных полос
И солнце пламенным восходом
Сверкнет над новью снов и мест.
Лети, пчела, за новым медом!
Прими, невольник, новый крест!

И на невспаханные полосы выходят новые силы, появляются новые молодые таланты. „Сосен перезвон" Н. Клюева обратил на себя всеобщее внимание; менее обратила внимания интересная и яркая книга стихов Зенкевича „Дикая порфира". Подает надежды несомненно талантливый Игорь Северянин, если только откажется от своих „поэз", от жалкого ломания и кривлянья. Вообще, молодые силы есть, есть поэтическая традиция, есть живая вода творчества; также и старые поэты продолжают возделывать новые нивы. Досадно мало стихов дала в минувшем году З. Гиппиус, которая предпочла писать скучный и мертвый роман; еще меньше дал Андрей Белый, занявшийся философствованием на мало знакомые ему темы Еще раз приходится повторить: как редко люди умеют ценить в себе свою силу, и как часто слабость свою считают силой!

То же самое, хотя и с меньшей определенностью мне хотелось бы повторить о Валерии Брюсове, по поводу напечатанного им в этом году большого романа — „Алтаря победы". Я готов признать большое „стилизаторское" мастерство В. Брюсова; но стилизаторство есть только маска, скрывающая живое лицо художника. В такой маске хорошо и полезно ходить бесчисленным Ауслендерам, у которых

своего лица нет. Каково лицо прозаика-Брюсова без этой маски? Не слишком запоминающееся, мало индивидуальное; и он сознательно украшает его „стилизованной" маской. Но все же сила В. Брюсова не здесь: она не в его прозе, а в его стихах,—и вышедшая в минувшем году книга его стихов „Зеркало теней" заслоняет собою громоздкий и с большим мастерством построенный „Алтарь победы".

Вообще, повторю еще раз, много живого и радостного дала поэзия минувшого года русской литературе. Кому нужна вся эта талантливая поэзия?—спросят меня наши литературные плакальщицы: разве вся она—не пустое место, не никчемность в жизни нашей?—Странные люди! Пусть они спросят себя: никчемна или нет была поэзия Пушкина, когда он писал в тридцатых годах свои элегии? Чем и как были связаны они с жизнью текущей минуты? Белинский и десяток-другой-третий читателей восторгались ими—и только. И вот, однако, эти „никчемные" для тогдашней жизни стихотворения оказались *несомненнее* принципов той эпохи оффициального мещанства, подобно тому как „Венера Милосская несомненнее принципов 1789 года" (знаменитая фраза Тургенева). Правда, это Пушкин и Венера Милосская,—но разве в величине таланта тут дело? Там, где есть великое или малое, но *живое* художественное творчество, там нет вопроса о том, *кому* оно нужно. Как *кому?* Да *мне* нужно (и не мне одному); и нужно не менее, чем в свое время Белинскому элегия „Безумных лет угасшее веселье"... Повесть в стихах г-жи Поликсены Соловьевой, действи-

тельно, мне не нужна; но мне *нужно* вот такое, например, стихотворение — одно из стихотворений минувшего года:

В полдневный час, целуя алчно землю,
С молитвенной и трепетной тоской
Я славлю мир, и жребий свой приемлю,
И всякий долгъ, и всякий крест людской
И знаю свят труд молота и плуга,
И праздный цвет, и важный звон серпа
И свет росы средь утреннего луга,
И вся земная пестрая тропа..

Мне *нужны* многие и многие стихотворения современных поэтов — и Блока, и Бальмонта, и З. Гиппиус; а раз мне они нужны, то, стало быть, нужны и не одному мне. Иначе и быть не может. Ибо надо смело сказать: мы живем в эпоху расцвета русской поэзии, и не плакаться мы должны, а радоваться той живой художественной струе, которая оправдывает себя самим своим существованием. А что тут же, рядом, громоздятся горы мертвого стихослагательного хлама, то опять-таки спрошу: когда же этого не было?

V.

В области художественной прозы минувший литературный год принес немало явлений, заслуживающих самого пристального внимания. Я говорю не только об известных литературных именах, вокруг которых кипели горячие споры, шла бурная пря; но для начала можно сказать и о них. Критикой враждебно был принят роман Ф. Сологуба „Дым и пепел“ —

окончание его романа „Навьи чары"; очень сердились на необычную „творимую легенду", тесно сплетенную с самым что ни на есть обыденным и реальным. За то же самое сердились и на „Заложников жизни" того же автора; но почему собственно сердятся—для меня это так-таки и осталось непонятным. Так или иначе, но законченный теперь роман „Навьи чары"— очень оригинальное и яркое произведение минувшего года, своеобразное и по замыслу и по стилю. Другой большой роман Ф. Сологуба, „Слаще яда", прошел совершенно незамеченным—и не по заслугам; повторяющий во многом среду и быт „Мелкого беса", роман этот написан с прежним мастерством и заслуживает прежнего внимания.

Много шума и страстных споров создалось за то вокруг двух пьес Л. Андреева: „Профессор Сторицын" и „Екатерина Ивановна". Недавно, когда еще Л. Андреев был в разгаре славы своей, когда о нем били во все барабаны и во все трубы трубили, тогда считалось признаком хорошего литературного тона провозглашать „конец М. Горького" и грубо лягать этого большого писателя. „Если в будущем -что очень вероятно—Л. Андреев разделит участь М. Горького (писал я тогда), если через несколько лет критика и читатели провозгласят „конец Андреева", то все же значение Л. Андреева в истории русской литературы останется непоколебленным, все же первое десятилетие XX века всегда будет связано в русской литературе с его именем, как восьмидесятые годы связаны с именем Чехова, и девяностые—с именем М. Горького"... Слова эти

более чем уместно повторить теперь, когда считается признаком хорошего литературного тона провозглашать „конец Л. Андреева“ и грубо лягать этого большого писателя...

М Горький в свое время сумел молча вытерпеть все эти ляганья и отпевания; и скоро он доказал, что он жив—дал ряд сильных и ярких произведений (например, „Исповедь“). И до сих пор сохранил он всю свою былую силу; достаточно прочесть появившиеся в минувшем году „Три дня“, „Из впечатлений проходящего“, „Рождение человека“. Горе его в том, что и он тоже не знает своих сил. Он бытовой художник и только художник; а тщится быть историком, философом и публицистом... Трудно без стыда за него вспомнить его невероятные газетные статьи о русской литературе, в которых Толстой и Достоевский клеймились, как представители „мещанства“! Правда, тогда М. Горький ходил в марксистских шорах; но мог же до такой степени уйти от жизни и правды большой и подлинно живой художник' В минувшем году М. Горький снова выступил не в своей роли и написал полу-публицистику, полу-беллетристику — неудачные „Сказки“, которые прошли мимо литературы... Зачем он это делает? Зачем не остается художником, которому надо верить, которого надо слушать?

Из второстепенных „маститых“ писателей в минувшем году порадовал, но не слишком, юбилейный Ив. Бунин своим „Суходолом“. Молчал А. Куприн, подготовляя окончание своей „Ямы“, которую сам себе вырыл. К сожалению, не молчал, а закончил М. Арцы-

башев свой очередной „деревянный чурбан" роман „У последней черты". (И последний рассказ его – „Деревянный чурбан" — вышел таким же обычно деревянным) Молодой А. Толстой своим романом „Хромой барин" не показал еще, куда он пойдет дальше. Интересную вещь дал И. Сургучев – повесть „Губернатор"; мало писал и не дал еще почвы для окончательных выводов о себе И. Шмелев. С интересом надо ждать большого романа Б. Зайцева, судя по тем отрывкам из него, которые появлялись в печати в минувшем году.

Еще о трех произведениях, или, вернее, о трех авторах хотелось бы упомянуть в этом перечне. Один из них произвел столько шума, что на добрый десяток знаменитостей его бы хватило. Другой прошел почти незамеченным, с произведением достаточно замечательным. Третий, один из самых крупных писателей последних лет, до сих пор стоит в тени, хотя заслуживает величайшего внимания.

Первый — это В. Ропшин, с его романом „То, чего не было"; но о нем надо поговорить особо. Второй—это Ив. Вольнов и его „Повесть о днях моей жизни, радостях моих и злоключениях". Без грома и шума прошедшая повесть Ив. Вольнова еще будет оценена по достоинству. Можно с надеждой ждать других произведений И. Вольнова в том же роде; в сущности и сама повесть далеко еще не закончена. Следует бояться только одного: чтобы автор не был homo unius libri,—потому что после этой яркой и сильной повести ему не легко написать подобное же по силе произведение. Буду сильно рад, если предположе-

ние это опровергнется дальнейшим творчеством Ив. Вольнова.

Третий—это С Сергеев-Ценский. В минувшем году он не дал особенно крупных по размеру произведений; но сам он настолько крупный художник, что мелкие рассказы его стоят больше, чем иные романы иных знаменитостей Сколько романов М. Арцыбашева можно отдать хотя бы за одного маленького „Медвеженка“ С. Сергеева-Ценского! Об этом писателе нельзя говорить мимоходом, и мне придется еще многое сказать о нем.

VI.

Возвращаюсь, однако, к тому вопросу, который является основным для всякого „взгляда назад“ на литературные явления. Вопрос ведь в том, что из этих литературных явлений ценно и нужно? что из них останется, как можно думать, в истории литературы? что из них тесно связано с нашей жизнью, с жизнью минуты, с жизнью века? Господа Антоны Крайние любят доказывать, что вся современная художественная литература талантлива и никчемна: не задевает нас, проходит мимо нас, является „пустым местом“. И когда вот такие крайние пытаются сами сочинить „нужное“ и задевающее всех нас произведение, то они стараются начинить его всеми последними словами современной минуты. Тут вдруг и оказывается, что... Но это „что“ позвольте мне выяснить на очень характерном примере.

Вот роман, появившийся в минувшем году: „Роман-царевич“ г-жи Гиппиус-Крайней. Если хотите прочесть произведение, написанное на самые современные, самые больные, самые „нужные“ темы, то пожалуйте—вот оно! Революция, реакция, прострация, эмиграция, провокация—на множестве подобных иностранных слов построен роман З. Гиппиус-Мережковской, посвященный все той же идее „религиозной общественности“, на которой строит свои романы и Д. Мережковский-Гиппиус. Вопросы все современные, даже слишком современные: все фотографии с живых лиц. Читая романы г-жи З. Гиппиус, все время узнаешь в ее героях живых современников, так что невольно вспоминаются ядовитые слова Герцена, по поводу одного неприличного литературного поступка поэта Языкова: „поэт не остается в абстракциях—он указует перстом *лица*, при полном издании можно приложить *адресы!*“ И действительно, разве только адресов не хватает в слишком бесцеремонных портретах г-жи З. Гиппиус... Это-ли не живо, это-ли не современно! Вот уж, повидимому, нужный для всех нас „адрес-роман“ (в роде того, как есть адрес-календари)...

И что же? Этого романа *нет* в русской литературе, он—пустое место, он вовсе не нужный, а просто нудный и мертвый роман, нудное и тягучее продолжение никому не нужной „Чортовой куклы“. Теперь г-жа З. Гиппиус вполне и окончательно доказала свое полное бессилие в области романа, в области вообще прозы (последняя и очень слабая вышедшая в минувшем году книжка ее расска-

зов—„Лунные муравьи“) Непонятно: зачем берется г-жа З. Гиппиус за рассказы и романы, которые образуют только „пустое место“, и почему она пренебрегает своим лучшим подлинным дарованием—даром поэзии? Вечное неумение понять свои силы, область своего бытия!

Вот ирония жизни. Все есть в романе г-жи З. Гиппиус: есть определенная „позиция“ — „религиозная общественность“ (самым фактом своей „позиции“ г-жа З. Гиппиус очень горда: у нее есть „позиция“!); есть современные вопросы; есть живая фотография; а романа нет. Мелькнула перед нами серая кинематографическая лента, и завтраже мы забудем о ней навсегда. Она нам не нужна. Ее нет. И тут же рядом рисует красками картину подлинный художник и творец Нет у него никакой „позиции“, не касается он современных вопросов, не фотографирует людей; пишет он то о каком то за холустном пьянице-следователе (А. Ремизов, „Пятая язва“), то о каком-го диком новгородском мужике (М. Пришвин, „Никон Староколенный“),—и картина неизгладимо врезывается в нашу память. Мало того, мы вдруг чувствуем, что эта „никчемная“ картина нам нужна, что она вошла в нашу душу, что мы теперь будем болеть ею, что мы теперь будем радоваться ей. И такое художественное произведение—подлинно живет в литературе; оно *есть* и оно будет.

Неужели же эти „черные, отрицающие жизнь произведения“ и есть именно то, что нам нужно и ценно в литературе? Хороша

же сама жизнь, которая от литературы берет только черное, только смерть и тлен!

Эта старая-престарая песня теперь поется на новые лады; о ней стоит сказать два слова.

Да, часто можно слышать голоса (все под голоски разных Крайних), что современная литература наша черна, мрачна, воспевает только смерть, только поражение жизни, только уход от жизни. Доказывать это можно очень простым приемом: читать первые попавшиеся под руку произведения современных авторов, всюду подчеркивать слово „смерть" и затем подобрать букет из наиболее ярких цитат. Прием этот хорош тем, что при известной ловкости рук им очень легко доказать все, что угодно, даже отрицающие друг друга положения; этот критический прием, что дышло—куда повернул, туда и вышло. Но повернуть это критическое дышло так, чтобы доказать всеобщий „уход от жизни" современной русской литературы не под силу ни всем Крайним, ни их подголоскам.

В статье о „Черной России"—(ее найдет читатель ниже), по поводу двух яко бы черных произведений минувшего года, мне хотелось—и, думается, удалось—показать, какое подлинно радостное чувство за человека выносишь из „Пятой язвы" А. Ремизова, этой, казалось бы, самой черной и убивающей жизнь картины: ее герой—герой трагедии и победитель жизни. И из темной драмы „Никона Староколенного" выносишь бодрое и радостное чувство веры в жизнь и веры в русский народ. Пробуждение и проявление этого чувства—вот что ценно и „нужно" всем нам в

подлинно живой литературе минувшего года,—и я не боюсь ошибиться, повторив это же, как предсказание о ближайших, идущих нам навстречу годах Период растерянности и маловерия проходит и уже прошел,—и непрерывно течет река литературы, вечно живая и богатая. И опять повторю: не плакать на реках вавилонских должны мы, а радоваться расцвету поэтических и художественных сил литературы нашего времени.

Нужно-ли подводить итоги? Мне кажется - они ясны: не рассыпанная храмина современная русская литература, а вечно созидающийся храм.

Разные слова раздаются в этом храме, но в конце-концов побеждает всегда одно: слово *жизни,* слово *веры в жизнь.*

С этой же верой будем смотреть на будущее русской литературы, на новый наступающий для нее год.

1912 г.

II. Русская литература в 1913 году.

I.

„Ежели ты трубочист—лезь, такой-сякой, на крышу! . Пожарный—стой на каланче! И всякий род человека должен иметь свой порядок в жизни“...

Так философствует некий малый инквизитор в одном из романов Максима Горького Если бы герой этот имел понятие о положении русской литературы, то непременно до-

бавил бы: „а ежели ты *критик*—оплакивай в каждом новогоднем обзоре современное оскудение русской литературы!" И правильно. Ибо всякий род человека должен иметь свой порядок в жизни,—а какой же это будет порядок, если критик, подводя литературные итоги минувшего года, вдруг возьмет да и не будет сетовать и плакаться горько! Это ему по штату не положено и примеров таких искони не бывало.

Но что делать,—приходится нарушать этот твердо установленный порядок, нарушать освященную годами традицию! Ничего не поделаешь. Да к тому же это и не в первый раз ровно год тому назад я уже говорил о переживаемом нами периоде расцвета литературы—после явного упадка ее в восьмидесятых годах. Позвольте мне поэтому начать этот новогодний „обзор" русской литературы заключительными словами прошлогоднего обзора и связать этим прошлый год с грядущим:

„...Бодрое и радостное чувство веры в жизнь и веры в русский народ. Пробуждение и проявление этого чувства—вот что ценно и нужно всем нам в подлинно живой литературе минувшего года, и я не боюсь ошибиться, повторив это же как предсказание о ближайших, идущих нам навстречу годах. Период растерянности и маловерия проходит и уже прошел,—и непрерывно течет река литературы, вечно живая и богатая. И опять повторю: не плакать на реках вавилонских должны мы, а радоваться расцвету поэтических и художественных сил литературы нашего времени"...

А плакальщики—пускай себе плачут: тем хуже для них же самих. И прошлого нашей литературы они не понимают, и настоящего не ценят, и будущего не предчувствуют. В поучение мне всегда хочется напомнить им несколько строк из „Дневника писателя" Достоевского за 1877 год. Вот эти строки:

„Вот уже тридцать лет, как я пишу, и во все эти тридцать лет мне постоянно и много раз приходило в голову одно забавное наблюдение. Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие и теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январьские отчеты за весь истекший год),—то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, все одну и ту же фразу: „В наше время, когда литература в таком упадке", „в наше время, когда русская литература в таком застое", „в наше литературное безвремение", „странствуя в пустынях русской словесности", и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять, по крайней мере, преталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике. Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок не явилось так много талантливых писа-

телей, как у нас, и так сряду, без промежутков А между тем я даже и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о „пустынях русской словесности". Впрочем, это только забавное наблюдение мое; да и вещь-то совершенно невинная и неимеющая никакого значения. А так, усмехнуться можно".

Усмехнуться можно было тогда, усмехнуться можно и теперь: ничто не изменилось в нравах и обычаях господ критиков. Всякий минувший год они провожают заунывным литературным плачем. Ничего не поделаете: таковы освященные десятилетиями правила хорошего критического тона.

Что же? Значит каждый минувший год обогащал нас новыми и новыми „классическими" произведениями русской литературы? Нет, год на год не походит; и я все время говорю о нашей эпохе, о нашем времени, а не об одном каком-нибудь минувшем годе. Да вот и наглядный пример из истории литературы. Шестидесятые и семидесятые годы—какой литературный расцвет, какая могучая эпоха, какое радостное для русской литературы время! Л. Толстой, Достоевский, Тургенев, Салтыков, Островский, Некрасов,—не говоря уже о целом ряде менее крупных имен. И посмотрите—каким „дырявым" вышел для истории литературы хотя бы 1867-ой год. Тургенев напечатал один из самых слабых своих романов—„Дым"; Островский—бледную и вялую хронику „Дмитрий Самозванец"; Писемский дал тяжелых „Самоуправцев" и не менее тяжелого „Поручика Гладкова";

вот почти и все литературное наследство 1867-го года. Правда, в этом же году были напечатаны разные повести Авенариуса, очередной исторический роман Данилевского и тому подобные произведения, но если бы всех их и не было—не много потеряла бы русская литература Так в богатом и ярком десятилетии очутился вдруг „дырявый" год; но разве он меняет хоть в чем нибудь общее впечатление от литературы шестидесятых годов? Нисколько.

Бывает, наоборот, целый ряд таких дырявых годов, и тогда они окрашивают собою эпоху, делают ее периодом временного упадка. Такими годами для русской литературы прошлого века были восьмидесятые годы. Ушел в себя от литературы Л. Толстой, умер Достоевский, заканчивали свою деятельность яркие таланты предыдущего поколения—Глеб Успенский, Салтыков. Только три имени разной величины и разного значения связаны с этим десятилетием: Чехов, Короленко, Гаршин. Чем же, кроме них, была заполнена литература этого десятилетия, какие „молодые силы" пробили себе дорогу? А вот не угодно ли: восходящей звездой считался Потапенко, восторженно хвалили многократных „Мимочек" г-жи Микулич-Веселитской, читали рассказы Мачтета, повести Салова; несколькими этажами ниже—увлекались „историческими романами" Всеволода Соловьева. В поэзии царил Надсон, заслуживающий всяческих похвал за свою молодую искренность и светлые порывы, но типичный поэт литературного упадка, пигмей по сравнению с Не-

красовым. Пользовался успехом салонный Апухтин. Подлинный лирик Фофанов начинал свои слишком изобильные песни. Ну, а затем— романы Эртеля, повести Сергея Атавы, Станюковича, Альбова, бесчисленные рассказы, стихотворения разных поэтов: все это в свое время было нужно, мимо всего этого не пройдет история литературы, но.. Но, пожалуй, тут действительно, было от чего в отчаяние притти! Так все это в общей сложности серо, бедно. бледно...

Серо, бедно, бледно. Так оно и должно было быть все это было симптомом „кризиса реализма" в нашей художественной литературе. Надвигался крупный общественный перелом девяностых годов, надвигались и новые литературные течения, зарождалось чудище обло, озорно—„декадентство", пришел „символизм". С этих пор идет новое оживление русской литературы, борьба „реализма" и „символизма", выработка новых форм, появление ряда новых крупных дарований (и в рядах „символизма", и в рядах „реализма"), особенно блестящий расцвет поэзии. И вот что прежде всего надо подчеркнуть: борьба реализма с символизмом была не поверхностной стычкой двух литературных школ, но непримиримым столкновением двух враждебных систем мировоззрений, двух различных мировосприятий. Мне уже не один раз приходилось вскользь говорить об этом — и в статье „Вечные пути" надеюсь договорить эти мысли до конца; теперь с нас достаточно и того факта, что так называемый „символизм" одержал ряд блестящих литературных побед, добился почти всеобщего признания,

а так называемый „реализм“ воспользовался многими уроками борьбы: былая серость, бедность и бледность—теперь уже невозможны чисто технически, теперь они остались только на задворках литературы

И мы стоим теперь на гребне литературной волны Быть может, перед упадком? Кто знает! Лично я вижу еще много неизжитых сил, много развивающихся дарований, много радостного, подающего надежды и осуществляющего их; предоставляю другим заблаговременно петь на свадьбе „вечную память“. Конечно, много литературного мусора дает нам каждый уходящий год; много „знаменитостей“ создает он, о которых через год-другой-третий помнить будут только записные любители литературы; горы бумажного хлама в прозе и стихах—неизбежные вехи каждого уходящего года. Но—ведь это „закон“ всякой литературы, и вольтерьянцы напрасно против этого говорят. Венчают лаврами бездарность? Да, но что же из этого? Тем хуже для бездарности, которую забудут на другой же день. Проходят мимо подлинных и больших талантов? И это бывает, но только до поры до времени; в конце концов—„каждый попадет на свою полочку“, как говорил когда-то Белинский. Ах, я хорошо знаю, что далеко не „все к лучшему в сем лучшем из миров“, что гибнут порою таланты под гнетом непризнания, в то время, как сытая посредственность увенчивается лаврами; это больно—за человека, но ведь не за литературу же? Ибо в литературе—каждому воздастся по делам его. если не сегодня, то, быть может, завтра.

II

Если от этих общих рассуждений перейти к примерам минувшего года, то долго искать их не придется. Наиболее несомненный и крупный успех 1913 года среди широких кругов публики, — конечно, драма М. Арцыбашева „Ревность". Несколько десятков (быть может, уже и сотня) „полных сборов" в театрах, лекции и диспуты об этой пьесе в обоих столицах, газетный шум и бум, лавры и успех. Так оно и должно быть. Ибо есть еще масса читателей и зрителей, которым как раз по плечу этот третий сорт Леонида Андреева. А ведь когда-то не только эти читатели, но и все—говорили и спорили о „Санине"! Как характернейшее явление „по-революционной" эпохи, „Санин" несомненно останется в истории русской литературы, но художественная ничтожность его обнаружится тем яснее. Эта „манекенная беллетристика" имеет еще многих и многих представителей, но „век их—день". Трудно даже представить себе теперь, что когда-то (и сравнительно недавно!) считался „известным писателем", например, Анатолий Каменский, что об его произведениях что-то там говорили и писали, спорили о какой-то его „Леде", и тоже венчали его лаврами. Да и один ли он! Десятками возникают подобные знаменитости и проходят... мимо русской литературы, по ее задворкам. Много было их и в минувшем году, но говорить о них—не входит в мою задачу.

„Гнет непризнания", тяготеющий иной раз над талантами—другая сторона медали. Но, к счастью, примеры этого—далеко не так часты. Приведу только один: в прошлогоднем обзоре я говорил о художнике, которого несомненно замалчивала критика и недостаточно оценили читатели, — о Сергееве-Ценском. В самом конце минувшего года о нем появился за то целый ряд статей; полоса „непризнания", повидимому, кончается. Что касается самого Сергеева-Ценского, то в минувшем году он дал только отрывок из романа „Красота" и небольшие рассказы „Недра" и „Ближний", проникнутые тем самым „бодрым и радостным чувством веры в жизнь", о котором мне уже не раз приходилось говорить. Сергеева-Ценского слишком часто пытались представить каким-то выразителем неверия в жизнь,—неверия, будто бы характерного вообще для русской литературы нашего времени; но все это были только попытки с негодными средствами Глубокая вера в жизнь неразрывна с „трагическим" отношением к жизни с „трагическим" пониманием ее: в этом—все заветное содержание русской литературы, начиная от Пушкина и кончая Л. Толстым. В это русло входит и творчество Сергеева-Ценского, одного из самых крупных представителей современного „нового реализма".

Большое произведение — роман — впервые дал в минувшем году милый художник-„импрессионист" Борис Зайцев, представляющий собою во всех отношениях полную противоположность Сергееву - Ценскому. О романе этом „Дальний край" много говорили, но в

общем даже самые горячие поклонники творчества Бориса Зайцева отнеслись к его роману довольно равнодушно, точно автор „обманул ожидания". И совершенно напрасно: автор ничем не обрадовал, но и ни чем не огорчил. Это все тот же Борис Зайцев, автор милых „импрессионистических" рассказов, и весь его роман — о котором подробно в особой статье — только ряд отдельных рассказов, этюдов и картин, нисколько не худших, чем все его прежние рассказы и картины. Конечно, „романа" нет никакого, здесь автора постигла полная неудача, — и особенно неудачно выбран был фон всего произведения: русская революция. На фоне этом такими жалкими и никчемными оказались все излюбленные герои Бориса Зайцева, вся эта милая полу-интеллигентная богема. Ни русской революции, ни русской интеллигенции нет в романе „Дальний край", нет и никакого романа; но в произведении этом как бы соединены в одно связное целое все два три тома рассказов Бориса Зайцева. Это писатель слишком определившийся, слишком выявленный, новых путей от него ждать нельзя; но на старых своих путях он может еще не один раз порадовать тихими и милыми повествованиями о милых и тихих людях.

Другой роман о русской революции, законченный в минувшем году, произвел целую сенсацию, был „литературным событием": я говорю, конечно, о романе В Ропшина „То чего не было". Роман этот — значительное беллетристическое явление, имеющее несомненный литературный и общественный инте-

рес; но в этом „романе о революции"—нет революции, а в трагических переживаниях его героев — нет трагедии. Ибо подлинный революционер есть „духовный максималист", а не только человек, изготовляющий прокламации или бомбы; ибо „трагедия" заключается в рождении и росте души, а не только в драматических коллизиях, как бы ярки они ни были В романе В Ропшина много драматических коллизий, много изготовления прокламаций и бомб, но нет ни подлинных революционеров, ни их трагедии. А казалось бы, какой благодарный материал для художника! И я верю, что к этому духовному богатству подойдет еще подлинный художник *).

И еще один роман на ту же тему - о русской революции: „Петербург", роман Андрея Белого. Об этом романе мне придется еще говорить очень много; теперь только два слова о нем Роман этот мне совершенно враждебен - по всему: по внутренней философии, по построению, отчасти и по выполнению; и все таки я считаю его глубоко замечательным явлением современной художественной литературы. Одного его было бы достаточно, чтобы в истории русской литературы минувший 1913-ый год не мог считаться пустым, „дырявым". Не собираюсь „восхвалять" этот роман, - наоборот, собираюсь восставать против него, против его сущности, против его „духа"; но и врагу надо воздавать

*) См. ниже статью: „Было или не было?"

должное. О замечательном романе этом еще много будет сказано *).

Иногда является произведение, которое как бы подводит итоги всему предыдущему творчеству автора: если бы не появилось оно, то, кажется, обо всем его творчестве нельзя было бы сказать определяющего слова. Конечно, это относится далеко не ко всем писателям, — к очень и очень немногим из них. Если критику по горькой необходимости надо писать о драмах, повестях и романах... ну, скажем, хотя бы Чирикова (вместо этого имени можно подставить десяток иных), то не все ли равно — проделать эту работу после прочтения четырнадцати или после прочтения шестнадцати томов собрания его сочинений? Какие уж тут „определяющие" произведения! И в то же время о Леониде Андрееве, например, можно было сказать определяющее слово только после „Жизни человека"; об Алексее Ремизове — только после появления, с одной стороны, „Посолони", а с другой — „Крестовых сестер". „Петербург" — является таким же произведением для Андрея Белого.

Вот еще одно произведение минувшего года, которое может быть названо „определяющим" для всего творчества его автора. Я говорю о драме Александра Блока „Роза и крест". Давно уже пишет Александр Блок, в наступившем году он мог бы отпраздновать,

*) О „Петербурге" Андрея Белого—см. мою статью „Восток или Запад?" в книге „Скифское", а также статью „Пылающий" (о всем творчестве Белого) в сборнике „Александр Блок. Андрей Белый" (изд. „Алконост", 1919 г.).

если бы захотел, десятилетний юбилей (для поэта—это не мало!),—и все не было у него „определяющего" его творчества произведения. Драма „Роза и крест" явилась таким произведением, вплоть до своего заглавия. Ибо, как мне уже пришлось говорить об этом, все творчество Александра Блока является соединением черной розы влюбленности с светлым крестом страдания: и в том, и в другом ищет он спасения от безнадежного мирового одиночества. Драма эта как бы подвела итоги всему его предыдущему творчеству.

III.

Не буду подробно останавливаться на целом ряде не менее крупных литературных явлений минувшего года; но даже беглый перечень их мог бы заставить иных критиков не так уж горько плакаться на наше литературное оскудение. Начинаю с представителя прошлых десятилетий: Максим Горький начал свою автобиографию („Детство"). Это—бесхитростное и подлинное описание жизни малыша в раз'едаемой ссорами мещанской семье, сжатой в кулак волею кряжистого „деда". Невольно по аналогии вспоминаешь такое же произведение самого молодого из наших писателей—Ивана Вольнова, „Детство" которого известно читателям („Повесть о днях моей жизни"). И по форме, и по содержанию—Ив. Вольнов, несомненно, идет от Максима Горького; вот почему так интересно сопоставить две их хроники—крестьянскую и мещанскую.

А вот представители другого литературного лагеря. Федор Сологуб дал новую книгу стихов (1884—1912 гг.). Такие стихотворения из нее, как, например, „Плещут волны перебойно“ или „Опять ночная тишина“ (с трудом удерживаюсь от искушения переписать их) — показывают, какого большого поэта имеем мы в лице Ф. Сологуба. Валерий Брюсов напечатал „греческую“ трагедию—„Протесилай умерший“; старая тема разработана здесь с большим умением и совершенно „побрюсовски“; это не мертвая подделка под древние образцы. Нельзя сказать того же про повесть его „Обручение Даши“: несмотря на все старание автора, в этой повести из эпохи шестидесятых годов — шестидесятых годов совсем не чувствуешь. Алексей Ремизов начал серию рассказов „Свет немерцающий“ — в новых для него тонах; Михаил Пришвин дал рассказ „Саморок“ (в стиле своего „Никона Староколенного“) и чудесные свои крымские впечатления—„Славны бубны“.

В заключение — позвольте мне указать на несколько произведений молодых авторов, напечатанных в минувшем году в „Заветах“ и заслуживающих того, чтобы на них обратили внимание. Это прежде всего—„Уездное“, повесть Евг. Замятина; впрочем, она и без того не прошла незамеченной. Молодой автор не нашел еще себя; много у него сознательно или бессознательно „ремизовского“, но много уже и своего. Если нужны примеры того, как „реализм“ может пользоваться многими техническими завоеваниями „модернизма“,—то вот вам один из примеров.

Другое произведение — тоже несомненно „ремизовское" по манере письма—некоторые критики сочли явно „символическим", а другие, вообще, остановились перед ним в недоумении. Я говорю о небольшом, но хорошо сделанном рассказе А. Терек (Ольга Форш) „Шелушея". Недоумевающие на ту тему, что-де „в реалистических тонах написана фантастическая вещь", хорошо сделали бы, если б вспомнили некоторые рассказы Эдгара По... И „Шелушея" и „Уездное" позволяют с интересом ждать дальнейших шагов их авторов.

Наконец, еще одно и к тому же большое произведение молодого автора — это „Новая бурса" Л. Добронравова. О ней писали очень много, — особенно, в виду исполнившегося в минувшем году пятидесятилетия со дня смерти Помяловского и явно напрашивающегося сравнения „Очерков бурсы" его — с „Новой бурсой". Пятьдесят лет прошло, много воды утекло, все изменилося под нашим зодиаком,— а „бурса" какою была, такою и осталась по существу своему. „Новая бурса" — яркая „бытовая" повесть; молодой автор умеет наблюдать и *рассказывать* о своих наблюдениях. А. Терек и Евг. Замятин умеют *показывать*—вот разница между ними. К тому же быт „бурсы" настолько ярок сам по себе, что Л. Добронравову предстояло выполнить, в сущности, очень благодарную задачу; выполнил он ее по своему с большим успехом. Подождем следующих произведений молодого автора.

Из других произведений сравнительно молодых авторов ярко выделилась повесть А. Ча-

пыгина „Белый скит". Недавно вышла книга рассказов А. Чапыгина „Нелюдимые", рассказов очень неровных по выполнению и по значению, „Белый скит" далеко оставляет за собою все эти первые рассказы и позволяет поэтому ожидать от автора еще более значительных и выдержанных произведений.

IV.

И этим я закончу обзор отдельных произведений минувшего года. Как, неужели только?.. О нет, конечно: можно было бы назвать в нисходящей прогрессии еще много хороших и не плохих рассказов знаменитых и менее знаменитых авторов; но я думаю, что десяток-другой перечисленных выше произведений достаточно ясно обрисовывает „литературу" минувшего года. И я с уверенностью могу сказать одно: тот год, в который появился роман „Петербург" и многие из произведений, перечисленных выше — не будет забыт историей русской литературы, не будет считаться „дырявым" годом. В шахматной игре есть такие „дырки" (holes), когда две выдвинутые вперед пешки связаны третьей, отставшей. Такие случайно „отставшие" года бывают в любом, даже самом блестящем, литературном периоде; но минувший год — не из их числа. И, вообще, заунывно тянуть теперь панихидное пение — вряд ли уместно; литература наша воистину жива, и не видеть этого может только тот, кто намеренно не хочет видеть.

Не знаю, стоит ли в сотый и тысячный раз спорить с теми, которые (а имя им — легион) не могут отрицать „талантливости" современной литературы, но за то обрушиваются на ее „беспозиционность", говорят о ее „ненужности", никчемности. Спорить с ними вряд ли стоит, но поставить их перед одним историко-литературным вопросом не бесполезно. История литературы в этом случае очень полезный оселок для многих современных критиков и читателей. Скажите, было ли „нужно" в тридцатых годах творчество Пушкина? Не правда ли, дикий вопрос: ведь первая половина тридцатых годов только и жива именем Пушкина, да начинающего Гоголя. Это мы знаем *теперь*, но многие и многие читатели и критики той эпохи были совсем противоположного мнения. На Гоголя смотрели, как на веселого сказочника, а Пушкин казался большинству усталым и устарелым, скучным и ненужным:

И Пушкин стал нам скучен,
И Пушкин надоел,
И стих его незвучен,
И гений охладел...

Так думала почти вся читающая публика, почти вся критика той эпохи. Почти никому не были „нужны" тогда ни элегии Пушкина, ни седьмая глава „Евгения Онегина", ни его поэмы и драмы, ни его повести. Что же? Значит ли это, что они были и вообще „не нужны"?

Так это Пушкин! — скажут мне; — его ли, гиганта, сравнивать с представителями совре-

менной литературы! А я скажу: уж если гиганта не сумели видеть и ценить, то насколько же труднее нам видеть людей нашего роста.. Правда, лет через пятьдесят или сто потомки наши, быть может, снова будут изумляться, как это мы могли так не видеть и не ценить такого-то или такого-то нашего современника; для них будет ясно, что он вовсе не был „нашего роста"... Да, старая это история—и все ж она вечно нова: ибо и потомки наши, в свою очередь, не сумеют оценить в должной мере своих современников...

Не думайте, что я хочу перегнуть палку в другую сторону и заявить, что де „наше время есть время великих людей". Не дело критики заниматься „измерением роста", это будет решать когда-нибудь история литературы. Нет, я только одно хочу сказать: „ненужность" современной литературы есть несомненный факт для тех, кто таковую „ненужность" ощущает, но никакого общеобязательного значения это суб'ективное ощущение не имеет. Если в 1830 году многие читатели бесспорно чувствовали, что седьмая глава „Евгения Онегина" никчемна, совершенно им ненужна—то, стало быть, так оно и было. *Им* она была ненужна; это факт Но вот подите же: факт этот прошел совсем мимо литературы! И это не мешает помнить тем, кому кажется такой ненужной, такой никчемной вся современная литература: и жизнь, и литература пройдут мимо них. Ну, а впрочем... „Ежели ты критик — оплакивай оскудение современной литературы!" Это не к одним пишущим критикам относится, это

относится ко всем читателям-критикам, недовольным современностью.

Я не принадлежу к их числу, и думаю, что не одинок в своей оценке литературы наших дней. Но если бы даже и был одинок, то, конечно, не переменил бы из-за этого своих мнений; кто прав—это покажет только будущее, когда „всякий попадет на свою полочку". А пока—пусть каждый идет своим путем, исповедуя свою „истину", свою веру. Наша вера—вера в жизнь, в ее победу, в ее торжество. И победа эта достигается силами каждого из нас, кто не сложил в бездействии руки, кто верит в жизнь и принимает ее со всеми ее муками и печалями, с ее пропастями и с ее вершинами. Литература, довлеющая сама себе, не оторвана ни от пропастей, ни от вершин этих; муками своего времени болеет она, радостями своего времени радуется—даже тогда, когда стремится уйти прочь от жизни, замкнуться в своем заколдованном кругу. И тот, кто верит в жизнь своего времени — верит и в литературу; и наоборот: когда видишь подлинно живую литературу своего времени—продолжаешь все больше и больше верить в жизнь, в ее силы, в ее творчество.

В этой вере—величайшая задача современности. Ибо пусть „наше время — не время великих людей", но за то, несомненно, что в противоположность серым восьмидесятым годам минувшего века—наше время есть время великих задач. Время великих задач и в жизни общественной, и в области искусства, и в сфере социальной, и в царстве науки, фило-

софии, религии — всюду. Всюду подведение итогов — и всюду ломка старого, всюду новые вопросы и всюду ожидание великих изменений. Видеть все это и во что бы то ни стало стоять на одном месте, цепляясь за старые каноны — это значит подписывать самим себе смертный приговор, ибо жизнь не ждет и беспощадно уходит от всех отстающих, от всех бездействующих, от всех скорбно плачущих о прошлом, верящих (а иногда и не верящих) в лучшее будущее и презирающих настоящее.

Так в жизни — так и в литературе. Плакать о прошлом и презирать настоящее — удел многих и многих; ибо гораздо легче цепляться во что бы то ни стало за старое, чем видеть и понимать то новое, что дает нам каждый новый год. Конечно, новое новому — рознь, и за старые наши „реализм" и „символизм" я охотно отдам десять самых новейших „акмеизмов" и „футуризмов" минувшего года. (Говорю о них здесь только мимоходом, ибо речь о них — впереди). Но неужели даже и здесь, за теоретической безграмотностью „акмеистов" и за дурачествами „футуристской" полу-интеллигентной богемы, вы не видите чего-то более серьезного, о чем можно и нужно говорить?

Одна из сказок Андерсена заканчивается неутешительной моралью: „золото — сотрется, свиная кожа — остается". Если бы это было справедливо, то, пожалуй, от минувшего года остались бы в истории литературы разные футуристские „Засахаре Кры", „Порося-Та" и многое тому подобное. К счастью, в жизни бывает иначе: истлевает свиная кожа, и остается навеки золото. Сколько бы золота ни осталось

от многопудовой литературной руды минувшего года, — во всяком случае не бедным будет 1913-й год в истории русской литературы.

Впрочем — это „дело десятое", ибо дело не в одном каком-нибудь годе, а в целом периоде, целой эпохе, и к тому же не в одной „литературе", а во всей многообразной и широкой жизни. Еще и еще раз повторю: величайшая задача каждого из нас — понять и принять всю эту жизнь в ее целом. И вторая неизбежная задача — понять и оценить литературу, которая является только одним из проявлений этой жизни, только вечным отражением и пропастей, и вершин ее. И неужели никогда так и не поймут наши литературные плакальщики (писатели или читатели, все равно), что, когда они „отвергают" современную литературу, — то это жизнь отвергает их самих! Бойтесь остаться „за штатом" у жизни, упорно цепляясь за прошлое и упорно закрывая глаза на живое творчество, окружающее нас!

1913 г

КАЛИФ НА ЧАС.

(А. Куприн).

I.

Почему *вторые* часто бывают на некоторое время *первыми*?—Вот интереснейший вопрос и для критиков, и для историков литературы.

В каждом отдельном случае не трудно найти ответ на него—в духе эпохи, в требованиях времени, в отношениях литературных партий. Почему второстепенный беллетрист сороковых годов Даль („Казак Луганский") считался в свое время чуть ли не гениальным художником? Потому, что тогда были в моде так называемые „физиологические очерки", а Даль был хорошим мастером в этом жанре. И ведь не „кто-нибудь" считал его большим, „первым" художником, а сам Белинский! Примеров—тысячи, ответы—разные; но историк литературы легче найдет эти ответы, чем критик современных художественных явлений.

Но все таки и критика не может обойти эти вопросы молчанием. Как не задуматься, например, над решением вопроса: почему вто-

ростепенный беллетрист нашего времени, А. Куприн, считается одним из первых талантов современной литературы? Пусть наша современная литература бедна талантами (вечная жалоба!), но неужели она настолько бедна, что и Куприн является в ней звездой первой величины? А если он действительно звезда не первой яркости, то в чем же причина той аберрации зрения, которой подвластны десятки тысяч читателей и десятки „официальных критиков" нашей литературы?

Когда задаешься таким вопросом и когда, проверяя себя, снова и снова перечитываешь томы „собрания сочинений" А. Куприна, а также и то, что не вошло в эти тома,—то все больше и больше убеждаешься, что вопрос поставлен правильно, что А. Куприн—действительно талант очень не крупный, милый в мелочах, беспомощный в широких замыслах, жалкий в глубоких обобщениях. И чтобы убедиться в этом,—не надо далеко ходить: стоит лишь перечесть первый рассказ первого тома „Молох", который „признан" одним из лучших рассказов этого автора. В рассказе этом все очень мило; мило даже простодушное остроумие, с которым автор заявляет, что одна из героинь, „Бета—считалась умницей" (замысловатый каламбур!); мило описание заводских нравов; недурно зарисован рыжий злодей Свежевский с его анекдотами о другом рыжем злодее, всемогущем Квашнине. Но вот беда: тот самый анекдот, который Свежевский рассказывает на двух страницах, автор растягивает на всю сотню страниц рассказа и трактует его серьезно,

мрачно, добросовестно. Чего стоят одни растянутые разговоры героя рассказа с доктором: скучно, нудно, безжизненно, никому не нужно. А в разговорах этих и заключена вся „философия“ разсказа... Ах, если бы ее не было!

II.

Так во всех томах. Премилые рассказы—те, в которых нет никакой „философии“, никаких задач ad demonstrandum, а есть простое и ясное описание простой и несложной жизни. Сейчас же за „Молохом“ идет картинка „Ночная смена“, и на ней отдыхаешь после сотни нудных страниц первого рассказа. Марк Твен описывает где-то свои впечатления от оперы Вагнера: полчаса томительной какофонии, и вдруг певучая простая мелодия, которая, по контрасту с какофонией, кажется особенно пленительной... Марк Твен ничего не понимал в Вагнере, конечно; но в А. Куприне понимать нечего, и, пожалуй, к его томам гораздо больше применима ядовитая бутада американского юмориста... „Ночная смена“—беспретенциозная, жизненная сценка из солдатской казарменной жизни, особенно милая по контрасту с томительным „Молохом“. Дядька Замошников рассказывает в углу казармы сказку; в другом углу двое солдат-хохлов „вечеряют“ с аппетитом; унтер офицер Нога повторяет „словесность“ с татариномсолдатом Камафутдиновым. Легко-ли бедняге татарину повторить и заучить фразу в роде „малокалиберная скорострельная пехотная винтовка со скользящим затвором системы

Бердана, номер второй"... Целый ряд живых сцен,—и читатель отдыхает на „простой мелодии". А затем опять нудные и томительные страницы рассказов с претензией, а затем снова милые, беспретенциозные вещи, особенно привлекательные по контрасту. И так из тома в том, рассказ за рассказом.

„Мирное житие" (т. III)—благолепный доносчик, пасквилянт по долгу христианскому, автор анонимных подлостей во славу Божию и во имя закона. „Река жизни" (т. III)—день в гостинице-притоне, хозяйка и друг ее сердца, и тут же, среди этой грязи, студент, не выдержавший жизни „Гамбринус" (т. IV)—кабачек в приморском городе и его жизнь в бурную эпоху от начала войны и до конца революции. „Листригоны" (т. VI)—очерки жизни балаклавских греков-рыбаков.—Все это прекрасные вещи, которые можно не только читать, но и перечитывать с удовольствием. А это—немало: читаешь все, но перечитываешь немногое. Правда, во всех почти этих рассказах есть темные пятна, фальшивые аккорды, бесвкусные строки: в „Реке жизни" оскорбляет напыщенно-надуманный конец письма студента самоубийцы; в „Гамбринусе"—комичные в своей серьезности последние строки, „мораль" рассказа; в „Листригонах" - прикрашенность, в „Мирном житии"—шарж; но пятна эти не портят общего облика рассказов. Есть, конечно, и более выдержанные вещи, начиная от веселого „бытового" рассказа „Как я был актером" и кончая такими прекрасными рассказами, как „Свадьба" (т. VI) или „Мелюзга" (т. IV). Последний из

них я, не колеблясь, назвал бы вообще лучшим из всех произведений Куприна. Если бы вместо многих томов сочинений этого писателя мы имели только одну книжку таких рассказов, как „Мелюзга",—и для автора, и для читателей было бы ко благу... И недаром Белинский в свое время советовал начинающему Тургеневу печатать только действительно удавшиеся вещи: „Ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что—ни то, ни се, не то, чтоб нехорошо, да и не то, чтоб очень хорошо"... Если бы А. Куприн (да и не он один) следовал этому золотому правилу! Но в том-то и беда его, что засорил он золотые песчинки своего таланта таким количеством серого песка и руды, что и в семи водах их не отмоешь. И этим самым явно высказал он всю второстепенность своего дарования, ибо, быть-может, тем-то и отличаются подлинно большие художники, что сами и с величайшим творческим трудом добывают они золото творчества и отбрасывают прочь руду. И величайший творческий дар неизбежно соединен с даром величайшей самокритики.

III.

Этого-то как раз и нет у многих второстепенных писателей и особенно нет у А. Куприна. Я не знаю другого из современных писателей, который так безжалостно загромождал бы золотые песчинки своего творчества массами тяжелой серой руды. Я не могу понять, как уважающий себя и свое дарование

писатель может дойти до таких ненужностей (хотя бы и „истинных происшествий"), как „Обида" (т. III); до таких яко-бы юмористических и в то же время „философских" рассказов, как „Собачье счастье" (т. III); до таких нелепейших анекдотов, как „Куст сирени" (т. VII), или сладких, фальшивых, вялых рассказов, в сто страниц, в роде „Олеси" (т. V); до таких ложно-патетических, со слезой швейцарского сыра вместо слезы человеческой, до таких печально-бездарных творений как „Клоун" (VI). И еще, и еще без конца: „Ученик", „Путаница", „Святая любовь", „Наталья Давыдовна", „Сильнее смерти", „Первый встречный", „Лунной ночью", „В клетке зверя" и много других,—все это или офицерские анекдоты, или фальшиво-патетические сцены, дешевая философия, легковесные подделки под мысль и чувство. Как не стыдно печатать весь этот вздор в полном собрании сочинений! И как же не понимает А. Куприн, что он сам хоронит себя под всем этим ворохом печатной бумаги!

Но он не понимает и никогда не поймет. Чтобы самому автору понять это, надо обладать тем глубоким художественным чутьем, которое дано только большим художникам. А. Куприн его лишен; иначе он не мог бы поднять руку на величайшее произведение мировой лирики,—на величайшую из песен любви, поистине „Песнь песней"; невыносимое искажение, бесвкусная „стилизация", которую позволил себе А. Куприн в своей „Суламифи"—достаточно красноречивое свидетельство художественной бесвкусицы этого автора.

И что еще печальнее,—он убежден (в „интервью“ высказывал и печатал), что эта „Суламифь“—лучшее его произведение! Правда, тогда была мода на „стилизацию“, разные Ауслендеры и прочие бесталанные авторы так набили себе руку, что могли „стилизовать“ под что угодно, правда, крупные таланты тоже отдали и отдают дань этой стилизационной болезни; но все-же трудно даже и сравнивать, например, умело и красиво написанного „Огненного Ангела“ В. Брюсова с пестрой и взвинченной „Суламифью“, к тому же плохо написанной даже в стилистическом отношении. Вся полоса „развития литературной формы“ (последние двадцать лет) прошла мимо А. Куприна, не задев и не затронув его; но мимо читателей она не прошла, и вот почему так коробят корявые фразы, дешевые сентенции и устарелые драматические эффекты в произведениях этого писателя. Если бы я захотел приводить примеры, то, боюсь, пришлось бы наполнить ими целый том.

IV.

До сих пор речь шла о двух крайних точках писательства А. Куприна: есть у него несколько прекрасных рассказов, еще больше есть рассказов очень и очень слабых; но громадную часть всех его томов составляют ни те, ни другие произведения, а средние во всех отношениях. Подавляющее большинство его рассказов состоит именно из таких произведений, которых Белинский не сове-

товал Тургеневу печатать. «ни то, ни се, не-то, чтобы нехорошо, да и не-то, чтоб очень хорошо». Читаешь такие средние (и всегда довольно посредственные) рассказы А. Куприна и все время говоришь себе: недурно, но второй сорт. Недурны «Лесная глушь» (т. I), или «Конокрады» (т. III), или «С улицы» (т III), написанные на темы М. Горького и в горьковских тонах,—недурно, но куда же до Горького! Недурен «Гранатовый браслет» (т. VII), написанный в чеховских тонах, но куда же до Чехова: нет простоты, вместо нее претензии. Красочен, но слишком анекдотичен «Штабс-капитан Рыбников» (т. III),- не веришь ни герою. ни автору. Сравнительно недурно написан «Вечерний гость» (т. III), с его непонятностью понятного и страхом нестрашного,— но куда же до Л. Андреева! Недурна охота «На глухарей» (т. IV), но не после тома рассказов М. Пришвина. Интересны по теме «Кадеты», но куда же им до соответственных «школьных» глав из «Истории моего современника» Вл. Короленко! Не плох «Изумруд», но не рядом же с «Холстомером» или «Фру-фру»! Как настоящий, хороший второстепенный талант, А. Куприн все умеет делать одинаково хорошо—и одинаково второго сорта.

Те читатели и критики, которые муссировали литературное значение А. Куприна, всегда подчеркивали два его основные «достоинства», связанные между собою: любовь к жизни и любовь к быту. Но есть любовь и любовь. Казалось бы, кому, как не исповедующему религию жизни, кому другому и принять творчество А. Куприна, его пресловутую любовь

к жизни; но в том-то и беда, что любовь эта тоже второго сорта. Стоит только сравнить, как стыдливо и глубоко любит жизнь Чехов и как аляповато и грубо восхваляет ее А. Куприн. Читая эти восхваления, то и дело вспоминаешь облик жизни, какою она рисуется Ф. Сологубу: «бабища дебелая и румяная»... Пусть жизнь прекрасна, пусть ничего нет выше ее,—но подлинная любовь художника стыдлива: она не восхваляет языком плакатных об'явлений. И вот почему подлинно нестерпим alter ego автора, поручик Назанский из «Поединка», со своими аляповатыми и риторическими восхвалениями того, что восхвалять можно не тем голосом, не тем языком.

О «Поединке»—произведении, составившем когда то славу А. Куприна—много говорить не приходится: этот роман соединяет в себе все характерное в творчестве этого автора. Прекрасны немногие главы «бытовые», в роде бала в офицерском собрании; очень слабо все, что касается Назанского; посредственно все остальное. Перечитывать роман теперь—нудно и скучно; а когда-то, в 1904 году, он пришелся очень ко двору и пользовался крупным успехом. Нельзя сказать этого про второй роман Куприна, «Яму», написанную с похвальной и нравоучительной целью: вред проституции и домов терпимости! Эта «Яма» явилась ямой для таланта А. Куприна. А ведь роман «бытовой»; плохую услугу оказала автору та его «любовь к быту», которую восхваляют в нем его почитатели.

V.

Здесь мы, повидимому, подходим к ответу на тот вопрос, с которого начали: почему такой второстепенный беллетрист, как А. Куприн, выдвинулся в первые ряды современной русской литературы? Полный и точный ответ на это даст в далеком будущем, когда все мы станем уже «прошлым», какой нибудь историк «русской литературы XX века». Теперь можно высказать только догадки и предположения; но мне кажется, что в общем на верном пути будет следующий ответ:

В конце XIX века в русской литературе начался процесс брожения, перелома, кризиса—развития новых литературных форм. «Декадентство», «импрессионизм», «модернизм». несмотря на все свои эксцессы, вырабатывали новые литературные формы для нового содержания; это новое содержание, каково бы оно ни было, во всяком случае разрывало связь с «бытом», или, говоря общнее, с «реализмом», царившим (за немногими исключениями) в русской литературе. Не говорим об «эстетах», о «мистиках»; достаточно указать на воцарившегося преемника Чехова и Горького,—на Л. Андреева. «Жизнь человека», знаменующая собой апогей славы Л. Андреева, совершенно разрывала с пресловутым «бытом» и была началом целого ряда подобных же произведений. А. Куприн в это время писал свои бытовые анекдоты и рассказы, иной раз очень милые, и справедливо считался одним из самых талантливых представителей былого «реализма». Что такое этот

«реализм»—длинная история, которой здесь не время касаться; несомненно во всяком случае, что по мере усилившихся выпадов против Л. Андреева неизбежно должны были все более и более выдвигать в первые ряды А. Куприна, а также и других подобных ему «реалистов» (в роде усиленно раздуваемого теперь совершенно второстепенного дарования Ив. Шмелева). И вот милый анекдотист и недурной «бытовик» вырос во мнении широкой публики до размеров звезды первой величины. Этим ему оказали и продолжают оказывать плохую услугу; одного из «вторых», его сделали на время «первым», но калифу на час грустно бывает просыпаться к действительности от своего обманчивого сна Конечно, А. Куприн был и продолжает оставаться primus inter pares, первым между равными ему по таланту; но быть первым между вторыми не значит еще быть первым вообще.

Верно все это или неверно, выяснится только впоследствии, когда вся наша эпоха отойдет уже «в историю»; и тогда в истории русской литературы каждому будет отведено место по заслугам и значению его. Во всяком случае, наверно известно одно: «Последние будут первыми, а первые последними»,—это в истории литературы редко встречается; но что «первые» для современников оказываются для истории литературы и «вторыми», и «третьими»—это часто случается.

Поживем—увидим.

1912 г.

ЧЕРНАЯ РОССИЯ.

I.

Одинокий, духовно раззоренный, ненавидящий и ненавидимый следователь Бобров—в тяжелой, бессонной ночи часто обращался к заветной тетради своей, к „кресту трудов своих". В тетради этой был *обвинительный акт всему русскому народу.*

„Бессловесное молчание", „безумное молчание"—вот участь русского народа. „Обиды, насильство, раззорение, теснота, недостаток грабление, продажа, убийство, непорядок и беззаконие—вот русская земля". „Нестойкий, друг с другом неладныи, бредущий розно, разбродный и смолчивый, безгласный — вот русский народ"... И в тяжелые, одинокие ночные часы „молчанного жития", душевная боль и тоска следователя Боброва выливалась в жестокие обличения темной, черной России, выливалась в „плач" над раззоренностью земли русской, в „плач" о погибели русского народа. Не часто в нашей современной литературе встречаются страницы, равные по силе этим жестоким обличениям—а значит и самообличениям— следователя Боброва...

„Когда на аграрном погроме, спалив усадьбу, погромщики выкололи глаза лошадям; когда в еврейском погроме громилы вбивали в глаза и в темя гвозди; когда околоточный в участке тушил папироску о голое тело арестантки; когда хулиганы, ограбив прохожего, отрезали ему губу, так, ни для чего; когда революционеры убивают направо и налево по указке какого-то провокатора; когда воры распяли купца, прибив его руки гвоздями к стене, а ноги к полу, требуя денег; когда судья оправдывает явного убийцу-погромщика,– кто это делает, какой народ?.. Когда мать ставит свою дочь на рельсы и приказывает броситься под поезд· бросайся, ты никому не нужна!. Когда в волостном суде, пытая обвиняемых, одного жгли раскаленным железом, другого подымали на дыбу, припекая ему пятки, третьему облили спину керосином и подожгли, четвертому в половые органы вгоняли мелконарезанный конский волос,—кто это делает, какой расточенный, убивший в себе душу народ? Какая изменная голова, изменная земле своей, измыслила дела такие на пагубу себе и всему народу? А хихикающее трусливое общество с своим обезьянским гоготом, бездельное... Лентяи и тунеядцы, воры, желающие выгородить лень свою и кричащие на всех перекрестках свой дешевый погромный клич и в этой травле видящие все русское дело! Нашли занятие! Нашли себе русское дело! Нищие душой, слепые недоноски, голыши духом, не находящие ничего другого для культуры России, для русского народа, как хулить и ругать Россию!

Нашли занятие! Нашли себе русское дело! Продажные, лицемерные исполнители, налагающие на других закон, а сами нарушающие его, первые предатели, первые изменники, первые злодеи. Подлое общество, подлый народ! Для кого же дорога Россия, кто ей верен, кто о ней печется, кто держит свою клятву служить ей неизменно—непреложно—неот'ятно... *Нет, я не русский!*—отскакивал от зеркала Бобров,– *не русский, я немец, все русские предатели и воры!*" (А. Ремизов, „Пятая язва").

Обманывает себя следователь Бобров: он не немец, он русский телом и душою, он плоть от плоти и кость от костей того самого русского народа, которому шлет он свои выстраданные проклятия, свои жестокие обличения. Ибо, обличая других, обличает он и себя; ибо недаром же зовут его в том самом народе, чернотой и жестокостью которого мучается он, недаром же зовут его „пятой язвой", бичем и истребителем рода человеческого! Как это вышло, отчего случилось—об этом потом, когда пойдет у нас речь о жизненной трагедии следователя Боброва; теперь же два слова не о трагедии его, а о „философии" его, которая находит такой сильный отклик в наших сердцах.

Черная Россия! Да, поистине черная. Кто посмеет усомниться в тех фактах, которые с такой душевной болью собирал и заносил в свой обвинительный акт следователь Бобров? Кто из нас не знает еще многих и многих черных, подлинно-русских деяний? Кто не содрогался, читая, слыша или видя такие

вещи, которые так мучительно хотелось бы не видеть, не слышать, не знать! Вот область, где труднее всего вытравить из сознания „национальное чувство". Вбить в глаза и в темя гвозди—это сделал человек человеку!. Ужасно; но для меня, русского, быть может еще ужаснее узнать, что это сделал человеку *русский мужик*, *русский человек*, тот самый, плоть от плоти которого—я, дух от духа которого—я, все мы... И если это сделал *он*, если он *мог* это сделать, то и на мне лежит бремя черного деяния, то и все мы причастны черноте народной... Тут два только выхода, две возможности: или *отвергнуть*, или *понять*.

Отвергнуть—легче. Так и следователь Бобров пытался сделать. „Я не русский, я немец; все русские предатели и воры"... Ах, не один следователь Бобров говорит это, пытаясь отделиться от народа, обособиться, отвергнуть его, осудить, а не понять. Для этого надо только (не для всех одинаково легко это „только"!) потерять *веру в народ*, с болью или с презрением ткнуть его носком сапога, осудить „великий русский народ" — осудить его, чтобы оправдать себя. Я чист; нет на мне вины; не ответственен я за черноту его. Народ распинает, народ убивает: неповинен я, неповинны мы в крови пролиянной. Нет вины нашей в грехах его: в зверстве и слабости, в жестокости и малодушии...

Понять — труднее. Но — по вере вашей дастся вам. И не по той слепой вере, которая готова закрывать глаза, лишь бы не видеть черного и темного, а по той вере, которая

приводит к твердому, несомненному, ясному знанию. Как могу я отвергнуть то связное целое, которого я—лишь малая часть? Как могу я порвать эту связь, не опустошая свою душу? Как могу я осудить великое целое, народ, не обвинив тем самым и себя? И обвинительный акт против русского народа не есть-ли жесточайшее самообвинение мое и каждого из нас? Обвинить народ—значит поставить крест над собой, также как осудить человечество—значит вынести смертный приговор и себе самому. И пока мы воистину живы—до тех пор не *отвергнуть*, а *понять* должны мы все самое черное, самое темное, что только возникает из почвы народной, вне которой сами мы—только оторванные сухие листья, крутящиеся по воле ветра.

Вот этим мне и дороги те два произведения, о которых и по поводу которых говорю я все это. „Пятая язва" Алексея Ремизова и „Никон Староколенный" Михаила Пришвина с двух сторон подходят к самой глуби вопроса о *черной России*. О черной России говорит повесть Ремизова и о том человеке, который пытался *отвергнуть* ее; о трагедии души этого человека, о том „спасении", которое он думал найти для России. И рассказ Пришвина тоже говорит нам о трагедии души человека, думавшего „спасти" Россию, человека, который мог стать жестоким убийцей, представителем черной России; поняв душу этого, человека, мы можем *понять* и черную Россию, увидеть за черным и временным светлое и вечное. Только подлинные художники способны дать читателям все это; и именно в

этой светлой художественной правде — причина того радостного удовлетворения, которое выносишь из этих двух таких непохожих, таких разных, таких, казалось бы, нерадостных произведений.

II.

„Чист Бобров, как поцелуй ребенка“,—по отзыву о нем студенецкого исправника... Да и все обыватели города Студенца знают об этой „чистоте“ следователя Боброва, знают, хотя бы по контрасту с собой. Двадцать лет служит Бобров следователем в Студенце, и все эти двадцать лет живет он под пристальным надзором студенецкого обывателя. Обыватель сердит, обыватель возмущен: слишком не похож на всех, слишком одинок, слишком „чист“ следователь. Не дерется—за всю свою службу пальцем никого не тронул; не безобразничает, как прочие студенецкие обыватели; не прелюбодей—и в этом отношении „феномéн“; на руку чист; строг и беспристрастен—„помереть готов на своей правде, тело свое даст на раздробление, крепок, стоек в своем слове, в два пути не пойдет“. Чист Бобров, как поцелуй ребенка... И вот почему весь город говорит о нем с таким раздражением, „с таким хихиканьем, с такими ужимками, с таким гоготом обезьянским“.

Мне уже приходилось в другом месте*) останавливаться на творчестве А. Ремизова и указывать, что все это творчество живет между

*) В книге „Творчество и Критика“.

двумя полюсами—между „обезьянами“ и „святой Русью“. Обезьяны — это о них говорит Ремизов и в „Пятой язве“, в тех главах, которые посвящены „обывателю“ (глава первая—„Людской путь“, глава четвертая—„Дубоножие“); главы эти и написаны совсем иначе, чем соседние, все остальные. Густой толпой, гримасничая и кривляясь, проходят перед нами обитатели города Студенца, подхихикивая над одиноким и „чистым“ Бобровым, который тем ярче и резче вырисовывается на их многоцветном фоне. Но они—не та „черная Россия“, загадку которой мы решаем; их многоцветность сливается в серое пятно „обывательщины“, а не в мрачную, темную силу черной России. И чувствуется, что Ремизову эта обывательская многоцветная серая грязь во многом дороже Бобровской „чистоты“,— хотя и ненавидит он ту плоскость и жестокость душевную, которая распинает „крестового брата“, как распинают студенецкие обыватели столь непохожего на них следователя Боброва, его непонятную им жизнь.

Все главы, в которых описывается эта жизнь, этот крестный путь следователя Боброва недаром напоминают так „Крестовых сестер“, напоминают и по форме, и по внутреннему построению. Еще в детстве понял Бобров страдание отца своего, который виновато, со вдавленной в плечи головой, молился за жену свою, мать Боброва, — молился „за мамочку,—за мамочку, чтобы ей легче было, а мне ничего, мне болезни пускай всякие, а за мамочку“... Еще с детства понял Бобров, что мать его — одна из вечно распинаемых

жизнью крестовых сестер, вечная страдалица из „святой Руси“, с лучистыми и испуганными жизнью глазами. А когда сам Бобров вошел в жизнь, и жизнь больно резнула его по сердцу, когда он взял на себя крест свой — свое одинокое, молчанное житие, без надежд, без любви, без просвета,—тогда и он подошел к той „святой Руси“, про каждого из братьев и сестер которой можно повторить·

Кто крест однажды взялся несть,
Тот распинаем будет вечно...

И Бобров поистине вечно распинаем жизнью. „Жизни ему и вершка не было“, а он жил, жил между святой Русью и обезьянами, жил силой своей, жил верой своей. Вера же эта была в том, что он, следователь Бобров, знает единый путь спасения России, путь, который „черную Россию“ обратит со временем в „святую Русь“. Только этой верой и живет, только ею он держится; пошатнется она — погибнет он. И в этой *трагедии* гибели — содержание „Пятой язвы“, ее значение, ее смысл; подчеркиваю, что здесь перед нами совершается не бессмысленная „драма“, а подлинная „трагедия“ души: гибель ее, но и рост ее при этом,—падение, но падение с полетом вверх, а не вниз.

„Чистый“ помыслами и душою человек, стойкий и твердый, который „помереть готов на своей правде, тело свое даст на раздробление“ — подошел вплотную к черной России, к обвинительному акту против русского народа. Чистоту свою он противопоставил черным деяниям народным, понять он их не хо-

тел или не мог, легче было отвергнуть. Но ведь и отвергнуть он мог только словесно, не душою. „Я не русский, я немец!"—ведь это были только слова, произносимые в минуты угарного отчаяния перед зрелищем черной России. А в долгие часы упорной работы другая мысль заполняла все существование следователя Боброва,—мысль, надежда, вера, что есть путь спасения, что черную Россию можно привести к „святой Руси". Следователь Бобров верил, что „дело его в Студенце является широкой общественной деятельностью на благо не только Студенца, а и всей России"; следователь Бобров думал, что „люди вообще существа грубые, и глупые, и лютые", что черная Россия вдвойне груба и люта, но что есть средство борьбы с этой лютостью, есть средство спасения России, и средство это—*закон и законность*. „Хорош или дурен закон, но в законе видел он единственную крепкую узду, чтобы сдерживать людскую грубость, и в законе, только в законе видел он спасение России, без чего, казалось ему, России не быть" .. И чем больше заполнял следователь Бобров свой обвинительный акт всему русскому народу, чем больше ожесточал свое сердце непорядком, насильством, беззаконием и чернотой народа русского,—тем отчаяннее хватался он за веру, что „законность, искони неведомая России—вот столп, которым укрепится земля". И эта вера, эта мысль, которую проводил он в своей деятельности, „была его крепостью, смыслом его жизни, делом его души". Разрушить в нем эту крепость значило бы переломить его душу.

А жизнь не могла раньше или позже не разрушить эту веру, и именно потому, что следователь Бобров был в существе своем поистине *человек* Что Россию спасет „формальная идея“ (говоря языком логики), — это мог и может думать только тот, кто, подобно следователю Боброву, не захотел *понять* черную Россию, а поспешил ее *отвергнуть* А тот, кто не понял и отверг, тот обречен на крушение своей веры, ибо обладать он может только формой истины, а не сущностью ее. Вера же и истина следователя Боброва—она не только „формальна“, она и жестока, ибо в основе ее лежит понятие, а не чувствующий и страдающий человек. И недаром тот же народ, обвинительный акт которому пишет следователь Бобров, тот же народ прозвал следователя, изувера формальной законности—„пятой язвой“ человечества... „Четыре страшные язвы: пагуба, губительство, тля, запустение, а пятая язва, студенецкая,— бич и истребитель рода человеческого—следователь Бобров“. И недаром всеми серыми и темными людьми, словно по тайному уговору, чувствовалось в следователе Боброве „тяжелое что-то, неудобное, камень, и такое обузное“... И если бы сам следователь Бобров мог взглянуть на себя со стороны, то в обвинительный акт черной России он включил бы и себя со своей тяжелой жестокостью формальной законности, как панацеи для спасения России... Вот почему, еще раз, обличения следователя Боброва суть в то-же время неосознанные самообличения. И когда следователь Бобров сознáет это, тогда завершится трагедия его души,

тогда он станет подлинно живым человеком— хотя бы в минуту смерти...

Так и происходит. Следователь Бобров случайно сталкивается со своеобразным „вождем жизни“ (ироническое название пятой главы)—„старцем“ Шапаевым, который „блудом лечит“, бесов изгоняет.. Ведь „всякая обезьяна чудеса нынче творить хочет.. Обезьяна чудотворить полезла и слепой слюнявый мерзеныш хозяйствует“... Так говорит сам автор „Пятой язвы“. Но ведь вот кто единый из всего стана „черной России“ стал лицом к лицу со следователем Бобровым и его вере противопоставил свою: старец Шапаев, „обезьяна чудотворящая“... Ибо чего-чего, а уж непоколебимой веры, такой же изуверной, как и у следователя Боброва, нельзя отнять у „старца“ Шапаева, этого хозяйствующего „слюнявого мерзеныша“. У старца своя вера в спасение человека и народа: смириться надо, надо расточить свою гордыню, надо взять на себя „послушание“— закаляющий душу подвиг. Страшные дни испытаний идут на землю русскую; „надо душу выковать, дух укрепить“. А людьми гордыня овладела: бегут от „послушания“, хотят „спасать человечество“.. „Ну, куда ты пойдешь: силы курячьи, душонка воробьиная, что сделаешь, что выдумаешь, чего достигнешь, кому поможешь?“... Так говорят старцы,—говорит нам автор „Пятой язвы“, прибавляя от себя: — „и правы!“ И он, автор, тоже прав, ибо говорит он это о силах курячьих, о душенке воробьиной...

Не в этом, однако, дело, — а в том, что столкнулись тут лицом к лицу правда внешняя, формальная следователя Боброва и правда внутренняя, духовная старца Шапаева. Старец „блудом лечил", бесов изгонял, и за попытку изнасилования попал в тюрьму и на допрос к следователю Боброву. И вот столкнулся чистый Бобров с человеком черной России, со слюнявым мерзенышем, старцем Шапаевым; и вдруг вышло так, что человек этот черной России близко подошел в чем-то к „святой Руси"! Ибо к святой Руси всегда ближе хотя бы и черное страдание, чем формальная чистая правда. А из черных деяний „старца" новую правду узнавал следователь Бобров: „нет преступления, а есть несчастье"... И уж если повинен кто наказанию, то не тот, кто *преступление* совершил, а тот, кто *осудил* этого преступника, „окаратель его"... Осужденный же, униженный—„многое постигает, .. он-то думает о Боге, молится,—сказал старец, и в голосе его прозвучала великая скорбь и горькое раскаяние".. Ибо лишь подвигом исцеляется и человек, и народ, а величайший подвиг—в вольном страдании.

Понял-ли хоть теперь следователь Бобров, что не смел он *отвергать* народ за черное, записанное им в „обвинительном акте" России? Понял-ли он, что надо сперва попытаться *понять* душу—хотя бы самую темную, черную, отягченную? Да, какую-то правду святой Руси увидел в этом черном старце следователь Бобров, — „и на минуту потянуло Боброва без всяких отпустить старца домой, но он сразу спохватился"... Но в душе следователя Бо-

брова былая его твердая вера как то надломилась. Правда, тут была и другая внешняя причина: он, следователь Бобров, блюдя свой палладиум—„законность"—по ошибке способствовал осуждению неповинного ни в чем человека; „и эта ошибка была камнем, пущенным в него—ему в сердце, непреклонное и твердое, как сам камень, и горькое, как желчь"... Да, ошибка эта нарушала крепость его веры, но она была только последним поводом, последним толчком. Давно уже и незаметно для самого себя, год за годом, вместе с потерей веры в свой народ и свою страну, следователь Бобров терял веру и в свою „веру", в свой палладиум, в дело своей души. И последними ударами были — и судебная ошибка, и твердая вера „старца", такая чуждая, такая враждебная следователю Боброву. Недаром же именно после разговора со старцем Шапаевым следователь Бобров „в первый раз за столько лет спросил себя—да прав ли он со своей законностью, и надо-ли русскому народу его законность, в законности-ли все спасение России?" И не прав-ли хоть в чем нибудь „старец"? Что если действительно преступления нет? Не есть ли тогда его „законность"—высшее и жестокое беззаконие? „Что же спасет Россию, если не его законность? Подвиг, вольное страдание? А его законность? Куда-же девать закон? И он, следователь, не нужен России? Куда ему-то деваться?" Тут только понял он, что не он *отверг*, — что сам он *отвержен*...

Так совершается душевная трагедия человека, проклинавшего когда-то народ, и только

теперь уразумевшего, что сам он, следователь, вне почвы народной — ничто, воплощенное бессилие, бесплодная смоковница. Пусть еще теперь привычно продолжает Бобров проклинать „беззаступный, бунташный, проклятый народ"—пусть; но в душе его уже все переломилось, „в душе его все перевертывалось— в безвестном и тайном сердца его"... Так всегда совершается трагедия—рост души человеческой; от формальной правды, от идеи законности следователь Бобров должен перейти, перестрадав, к высшей человеческой правде, к любви человеческой. Теперь, именно теперь становится ему ясно, что он, хранитель внешней правды закона, медленно убивал столько лет жену свою — живого человека, бок-о-бок с ним живущего. Убивал духовно, нравственно — тем хуже! Закон соблюдал, а человека убил... И когда в предсмертном борении, в предсмертном видении чудится ему, что его, следователя Боброва, судят и осуждают за совершенную им ошибку, осуждают жестоко, но по букве „законности",—он видит, он понимает всю жестокость, всю несправедливость того, чему он всю жизнь служил.

И это не только потому, что это *его* судят, что до него дело дошло. Нет, душа его раскрылась теперь и для чужих страданий, и в том же предсмертном видении он мучается сердцем за „пустяковое дело", которое он когда-то в газете вычитал: как судили и осудили где-то во Владивостоке китайца за то, что „пару брюк" украл. Как *пару* брюк? „Один бреука!"—вырывается из души недоумевающего китайца отчаянный крик... Запомнилось

же следователю Боброву это „пустяковое дело“! И здесь дошел он до вершины своей человеческой трагедии.—ибо мелкое, анекдотическое, обычное человеческое страдание уязвило и растопило душу следователя Боброва. Он умирает с этим предсмертным видением: „один бреука!—рванулся, глотнул Бобров воздух; и сердце похолодело, стало сердце“... Он умер — что до того! Он умер победителем над самим собою; умер, дойдя до вершин человеческой трагедии; умер, став человеком и приняв страдания человеческие И вот почему жизнь и смерть его — не бессмысленная драма, а осмысленная трагедия; вот почему из мрачной, казалось бы, повести художник заставляет нас вынести светлое чувство удовлетворения.

Воплотить трагедию в драме—дело художника, вскрыть зерно трагедии в драматической оболочке—дело критика. Вскрыв его, мы тем самым сразу освещаем весь духовный облик погибшего—и победившего—героя. Он победил самого себя—значит он разорвал и свой обвинительный акт русскому народу; быть может, еще не понял он черную Россию, но уже, наверное, не отверг ее. Отвергнуть ее легко—и невозможно, ибо тем самым выносишь приговор самому себе; понять ее трудно—и необходимо, ибо только этим можно оправдать самого себя. Первое видели мы в „Пятой язве“ А. Ремизова; второе увидим сейчас в „Никоне Староколенном“ М. Пришвина.

III.

Снова стоим мы перед душой черной России и знаем уже, что отвергнуть ее не можем, не должны, не смеем, не имеем права и сил: это показал нам только что художник. Кто же, кроме художника, может показать нам и другое—душу народную, душу человека черной России, показать и дать понять, дать войти в нее. Это и делает с нами Михаил Пришвин в своем рассказе „Никон Староколенный", помещенном в 18 альманахе „Шиповника" непосредственно вслед за „Пятой язвой" А. Ремизова. Случайное совпадение это как нельзя более характерно во многих отношениях.

Прежде всего это позволяет читателю сравнить между собою двух этих художников. Не в величине талантов тут дело,— интересно здесь другое: сходство и разница между двумя этими подлинными художниками, из которых один вполне законченный, другой — только начинающий. Люди, лишенные художественного слуха и не умеющие различать полутонов, часто считают стиль А. Ремизова и М. Пришвина тождественным. Это грубая ошибка. М. Пришвин, конечно, прошел через Ремизова; и там, где он старается быть чрезмерно хитрым и нарочито тонким в своем творчестве, там, где он хочет писать „завитушками",—там, действительно, он иной раз очень близок к Ремизову. Так было, например, в его „Иване Осляничке" („Заветы", 1912 г., №№ 2 и 3). Но там, где Пришвин

находит свойственный себе строгий и четкий тон, там, где он перестает стараться, где перестает писать завитушки в стиле „московского рококо",—там у него свое лицо, свой запах, свой творческий уклад. Таков он как раз в „Никоне Староколенном", который мне представляется новым большим шагом вперед этого художника, находящего свою дорогу. Творчество А. Ремизова представляется мне с внешней стороны старо-московским: западная культура и российские угодники, кремль, чудища и „химеры" на Спасской башне, яркая причудливость и гениальность храма Василия Блаженного, хитрые и чудесно сделанные завитушки орнаментов XV—XVI века, театральные действа Симеона Полоцкого и его современников. Творчество М. Пришвина представляется мне менее „культурным" (это только кажется) и более древним—старо-новгородским: кремль, „Детинец", но без орнаментальных хитрых завитков, строгая св. София, строгие церковки и скиты на Перуновом острове. — а вокруг водная ширь Ильмень-озера и бесконечные глухие леса, в которых живут современники Рюрика, полусказочные „борноволоки", и в которых старые глухари-мошники клюют красную журавину-клюкву...

„Пятая язва" и „Никон Староколенный" помещены рядом друг с другом,—и читатель сам может проверить это мое впечатление, может согласиться или не согласиться с ним. Но не в этом дело. Важнее и интереснее для нас не внешнее различие, а внутренняя идейная связь этих двух произведений: „Никон

Староколенный" как бы отвечает на те вопросы, которые встают перед нами после „Пятой язвы".

Следователь Бобров, в своем обвинительном акте русскому народу, перечислял возмущенно черные деяния народные. Он казнил себя ими, и мы казнились вместе с ним Но, перечисляя их десятки, зная их сотни и тысячи, подошел ли он хоть к *одному* из них вплотную, дошел ли до конца, до корня? Возмущаясь, негодуя и проклиная, попробовал ли он хоть один раз об'яснить самому себе, попробовал ли он понять хотя бы одно единственное „черное деяние"? Думал ли он о том, что нельзя ограничиваться фактом, что надо сперва развернуть и распутать длинную и запутанную нить иной раз всей человеческой жизни, прежде чем осмелиться судить и осудить? Нет и нет. За это-то и был он сам осужден жизнью, и тяжелыми муками искупил свою вину перед человеком, перед родным народом.

Но можно ли распутать нить? Можно ли дойти до конца, до корня? Да, можно; но это в силах сделать и показать нам только художник. Только художник может заставить нас понять, что, например, трагедия короля Лира осмысленна (не во-вне, а изнутри), что черные деяния Макбета неизбежны. Я взял громадные примеры, давящие своею тяжестью; но и в совершенно другом масштабе мы только что видели то же самое и на следователе Боброве: художник убедил нас во внутренней осмысленности его жизненной трагедии, развил всю нить его жизни, довел нас

до корня, до конца—или, вернее, до начала. Так же может художник подойти и понять то черное деяние представителя черной России, которое следователю Боброву (и нам вместе с ним), быть может, казалось только простым бессмысленным, черным зверством русского человека. Об одном таком неосуществленном черном деянии мужика Никона Староколенного рассказывает нам Пришвин, разматывая нить до конца и заставляя нас не отвергнуть, а понять душу черной России.

В начале марта 1881 года, на Софийской площади в Новгороде стоят шпалерами войска, кучками жмутся и шепчутся „господа", толпами прибывает из окрестных деревень „черный народ": прибежала в Новгород весть, что „царя убили". Стоит в толпе и Никон Староколенный, только что прибывший в Новгород из глухого деревенского угла, стоит и настороженно подслушивает разговор двух „господских девиц". Одна, в белой шубке, рассказывает другой, „как царя убили, как он из кареты вышел и прислонился к решетке и как опять бросили бомбу"... Девица говорит, а в это время „у Никона стопудовые жернова в голове не могут размолоть малое зернышко: как это она все узнать могла?.. Больно-пребольно укусил себя за язык Никон Дорофеич и стал выпрастывать из-под тулупа руку и, когда освободил, еще ближе подошел к белой девице"... Когда же девица эта, продолжая рассказывать, молвила, что „так не сумеют сделать и во Франции", то стопудовые жернова в голове Староколенного вдруг

повернулись от одного этого слова *Франция*. „Слышал он, что воля идет из Франции и знал, что антихрист родится от седьмой девицы Наталии во Франции. Стопудовые камни повернулись и раздавили малое зернышко, все стало ясно... Эта француженка Наталия убила царя. Никон взял незаметно булыжник с острым концом, выпростал руку и наметился прямо в висок белой девице“...

Никон не убил белую девицу, не убил только оттого, что случайно их раз'единили; но за то, что он ее *не убил*,—он пошел каяться к попу... Не будь случайности — еще минута, и острый булыжник размозжил бы голову белой девице, и следователь Бобров, вызванный на место преступления, записал бы в свой обвинительный акт еще одно черное деяние, – бессмысленное, нелепое, зверское убийство... И мы поверили бы следователю Боброву: откуда могли бы мы прозреть в душе Никона Староколенного за черным и временным—светлое и вечное? Но это, повторяю еще раз, именно это и делает с нами художник, разматывая нить в глубь жизни Никона, давая нам возможность не осудить, а понять.

Рассказ о Никоне начинается еще с того времени, когда „волю давали крепостному народу“. Человек крепкого закала, твердый, степенный и „божественный“, Никон Староколенный не удовлетворялся той „волей“, которую получил тогда вместе со всем крестьянством. Под „волей“ понимал он „землю“, но к воле этой требовал и „палку“, под которой понимал не что иное, как все ту же

бобровскую „законность", закон. „Землю он волей считал, а при воле суд хотел строгий и праведный, так чтобы ничего у человека своего не было, а чтобы все от Бога Праведный строгий суд и называл Староколенный *палкою*"... Какая же воля из под палки?— смеялись над Никоном; „а какая же воля без палки—отвечал Никон,—глупость одна, этого всегда было довольно, иди дури, свет не заказан, свет на воле стоит"... Не один следователь Бобров живет идеей „законности",— ею живут где-то в новгородских лесах и Староколенные; только подходят они к ней совсем с другой стороны. Для следователя Боброва „закон" есть государственно-правовая норма, для Староколенного он есть божественное установление. „Моя вера вот! — говорил Никон, беря в руки Библию:—не будь этой книги, все бы мы друг друга заели, как дикие некрещенные людоеды, эта книга нам зубы опилила"...

Так уже с самого начала обрисовывается перед нами „божественный", твердый, глубокий душою, подлинно русский „староколенный" мужик,—и таким он остается до конца, таким остается он и в ту минуту, когда поднимает острый булыжник, чтобы совершить нелепое черное деяние—убить ни в чем неповинную „белую девицу"... Что же это? Неужели апология „черносотенства"? идеализация его?—Нет, это только развертывание нити до самого конца, до исхода, до начала, это только подлинное понимание народной души, а не поверхностное удовлетворение „фактами".

Да, перед нами здесь то, что принято называть „черносотенством"; да, Никон Староколенный—„черносотенник", и в этом отношении представитель черной России. Ибо где же найдем мы больше черных деяний, как не в этом стане людей, среди которых, кажется, свили себе гнездо все самые отвратительные преступления? Не забудем только одного,—что все это лишь накипь на поверхности, и чем эта накипь ближе к поверхности жизни, чем она выше, тем и грязнее. В глубине, в низах народных — подлинные и искренние „черносотенцы" часто бывают лучшими людьми своего круга; это знает по десяткам примеров каждый из нас, соприкасавшийся с русской деревней Вот почему нет ничего ошибочнее обычного, узкого, шаблонного понимания „черной России", отождествления ее с „черносотенством", которое-де все идет „от чорта", которое не имеет в себе ни одной светлой черты... Либеральные мистики выражают это так, что-де „в мистическом плане" за черносотенством стоит сам дух небытия, Сатана, Антихрист... Все это очень плоско, все это скользит только по поверхности явлений. И если уж на то пошло, если уж зашла речь о „демоническом" и „божественном", то надо твердо признать, что часто на подлинно „божественном" стоит черная Россия. Недаром и Никон Староколенный, беря в руки Библию, говорил; „вот моя вера!"

Когда Никон Староколенный усиленно стал читать Библию, жена осмелилась как-то сказать ему, „что страшная это книга и много

читать нельзя: неладно бывает от этого". Без слов этих непонятен и Никон Староколенный. Никон, человек „божественный и справедливый", жизнь понимает по Библии; он и подобные ему „глядят в одну и ту же книгу—Библию, читают и толкуют по ней жизнь нынешнюю" И разве мало еще таких Никонов на святой Руси? Нам, людям другого века, другой эпохи, иногда даже трудно понять то, что волнует и мучает Староколенных больше всего на свете, так же как и им чужды и непонятны наши волнения, наши мучения. Часто-ли даже узнаем мы о самых заветных вопросах и запросах этих „староколенных" людей?

А это, однако, не трудно. Вот пример: стоит только взять в руки какой нибудь старообрядческий религиозно - нравственный журнал; старообрядческий потому, что там люди тверже и крепче, там все „староколенные" пишут, вопрошают и отвечают. Хотите знать, чем живут и интересуются „в лето от сотворения мира 7420-е" десятки, сотни и тысячи Староколенных, рассеянных по всей земле русской? Вот передо мной журнал „Златоструй" („старообрядческий ежемесячный иллюстрированный журнал духовно-поучительного и просветительного чтения"); попробуйте войти в психологию того, что я сейчас приведу из этого журнала наугад, не выбирая.

„Можно ли иметь псов во дворе, говорят, будто бы ангел там не пребывает?". „Можно ли христианам страховать дома?". „Грешно или нет прививать оспу?" (1911 г., № 6).

„Укажите, которая вода считается живою: теплая или холодная, и какою водою следует омыть покойника?". „С какого времени открылось звание мещан и может-ли оно быть вредным для спасения?" (1911 г., № 7). „Можно-ли православному христианину стричь волосы на главе гладко, или, как называется, под польку, и грех-ли брить бороду?" (Ответ редакции: „из правил святоотеческих явствует". что христианам воспрещается и стричься под польку и бриться). „С юных лет родители внушали нам, что у каждого христианина есть свой ангел-хранитель, который записывает добрые дела каждого и по захождении солнца является с ними ежедневно к Богу. Между тем, из географии известно, что есть страны, где по три месяца не восходит и не заходит солнце. Как это об'яснить?" (1911 г., № 8). „Можно-ли есть колбасы и какие?". „Можно-ли класть деньги в банк и отдавать их под проценты?" (Ответ редакции: можно но не следует брать свыше 12 процентов). „Грешно-ли пить чай?" (1912 г., № 9). „Следует-ли верить, что икотка есть запись Богом наших грехов?" (1912 г., № 10).

Я не исчерпал и тысячной доли богатейшего и интересного материала, перелистывая журнал „Златоструй". Пора возвратиться к Никону Староколенному; впрочем, мы от него и не отходили. Ибо если вы попробуете войти в психологию этих людей, вопрошающих о всех сторонах жизни, то только тогда вы и поймете Староколенного. Для читателей „Златоструя" божественные книги должны ответить на все вопросы; и редакция всегда

определенно отвечает и на большое, и на малое. Так, в № 10 за 1912 г. вы найдете характерный двойной ответ одному из вопрошающих: „по вопросу об антихристе"—такой-то, „по вопросу о картофеле" — такой то. И, читая это, вы понимаете, что для Староколенного на вопрос о картофеле так же неизбежно должен быть ответ в церковных книгах, как и на вопрос об антихристе. Староколенные должны найти в этих книгах все— вплоть до ответа на самые последние устремления мысли, в роде: „в последнее время процветет Австрия, аки новая Бѣрлина (!) и пройдет без коня на семиглавом змие, возмутить всех христиан, аки воду, и вода превратится в кровь в та времена" (там же, 1912 г., № 9)

Еще раз повторяю: попробуйте войти в эту психологию — и вы поймете Никона Староколенного, который ищет в Библии ответа на все вопросы, в том числе и на главный вопрос его жизни: о спасении России.

Болеет и страдает Никон тем-же, чем следователь Бобров, и ответ дает тот же самый: спасение — в „законе". Только „закон" понимает он по своему, а болеет сердцем он с Бобровым по одинаковому. „Что же спасет русскую землю, вырванную, выжженную, выбитую, вытравленную и опустошенную? Кто уничтожит крамолу? Кто раззорит неправду? Что утолит вражду? И где царский костыль?— все в розни, в конец раззорено! Где бесстрашные прямые думы, безтрепетное сердце?" — так в отчаянии восклицал следователь Бобров, и видел спасение в формальной идее „закона". Почти теми же словами говорит о России и

Никон Староколенный, но не в формальной идее „закона“ видит он спасение, а в том, кто эту „палку“ держать должен. „Палка нужна, а кто-же той палкой бить станет?—Чуть подумал Никон Староколенный и сейчас же ответил:—Царь, помазанник Божий, он один может наказать нас после Бога“... Почему-же и при царе („законе“), — раздумывает Никон, — почему елабеет духовно и не устрояется Россия? Стопудовые жернова в голове Никона могут только одним ответом размолоть это зернышко „Обманули царя! - восклицает Никон: — мог бы я правду царю сказать, то упал бы в ноги: Государь! вели мне дать двести палок, бей меня до смерти, невинный ложусь, только чтобы с меня началось, и бей после меня владык и попов, и учителей, и купцов, и чиновников, и мужиков, всех бей, вороти назад свою строгость“... И Никон начинает считать себя Божьим избранником, который призван, пожертвовав собою, спасти тем самым Россию...

Так вертятся стопудовые жернова в голове Никона Староколенного. Да, стопудовые жернова; но не ясно-ли, что душою чист Никон не менее следователя Боброва? И чем ближе Никон к своему „делу“,—а „делом“ его чуть не оказался булыжник и пролитая кровь ни в чем неповинной „белой девицы“,—тем чище душою и „божественнее“ становится он, все молится, постится, читает Библию. Но тут же еще минута — и пролилась бы неповинная кровь, и совершилось бы бессмысленное, нелепое, зверское убийство. Тонкий волосок отделяет здесь „святую Русь“ от „обезьяны“,

чистоту от черного деяния, и если бы черное деяние совершилось—многие-ли бы поверили, что за этим черным и случайным есть светлая вера в правду (в каких бы изжитых формах эта вера ни выражалась), есть готовность жертвы собою во имя спасения России?

Черное деяние не пришлось совершить Никону Староколенному, и то, что он его *не* совершил—подкосило его душу: „ну, рубите же мою голову, Никон Дорофеич свою обязанность не выполнил!..“ Он *не* убил — и потому счел себя потерявшим свою чистоту, счел себя преступником, бросил читать Библию, ушел весь в хозяйство, в обыденную жизнь. „Романтический период“ его жизни окончился. Еще долго после этого жил он, растил детей, женил сыновей, воевал со „злодюгами-невестками“,—художник прервал здесь нить рассказа о Староколенном и перевел нас, быть может через три десятилетия, к картине смерти Никона Староколенного. Выгнанный из дома детьми, неукротимый старик снова вспомнил о том, чем жил когда то, и пошел в чем был, без шапки, босой: „искать правды у царя“, сказать царю не только о своей обиде, но и об обиде всей русской земли. (Не могу не упомянуть о прелестной вводной сценке полесовщиков, попадающихся на пути Никону).

Стопудовые жернова в голове Никона по прежнему не могут размолоть малого зернышка, если оно не лежит на привычной колее его мысли; и вот дед Староколенный „идет к царю с жалобой на детей, на попов, на владык, на чугунку, на школы, на учителей, на монахов, на докторов, на слабые суды, на

больницы, на жидов, на французов, на поляков, на немцев, на бесчестную торговлю, на безбожную науку, на всякое новое и чужое, от себя, а не от Бога задуманное дело"... Он гибнет, заблудившись в лесу,—и в этом конце разница между осмысленной трагедией жизни следователя Боброва и бессмысленной драмой смерти Никона Староколенного. Подлинный и глубокий символизм в этой гибели Староколенного среди всякой лесной нечисти, в моховом болоте. „Солнца не видно на сером небе, нет пути, заблудился дед, потерял путь к царю,— и кажется ему теперь, будто он на месте стоит, на журавине, а идут к царю курносые сосны, корявые березки и всякая нечисть и дрянь лесовая: грем, кокоры, пни, лежины, сушины, грибы плюхи, ветухи, пыхалки, болиголовы, благушки. Он стоит, а они все идут, проплывают мимо него"... „Выбился из сил старый дед-мошник и сел на красную журавину, как старый умирающий глухарь-мошник: смотрит на ягоды, и уж не клюет. Везде, куда глаз хватит, все красная журавина, а он не клюет, нахохлился, глядит и не видит. И прилетели настоящие глухари-мошники, клевали красную журавину и не боялись старика, словно это поседела одна зеленая кочка на мху. Напитался мох осенней водой, ни пройти по нем, ни прилечь. Куда хватит глаз— везде редки курносые сосны и корявые березки. Заболотилась, закислилась почва, не растет на ней настоящее высокое дерево".

Так кончается „Никон Староколенный", и, повторяю,—глубокий символизм в этом конце Никона. Не героем, не победителем погибает

Староколенный, — погибает он побежденный жизнью. За что же? В чем вина его? В том-ли, что представитель он „черной России“? Но ведь мы знаем, как близок он „святой Руси“! Погибает он не за вину, а за беду свою, и беда его в том, что, чистый в области духа, темен он в области мысли. Не черную Россию — темную Россию олицетворяет он, и в темноте этой не вина его, а беда его. И гибнут от темноты сознания великие духовные силы лучших людей народа. *Понять* эти духовные силы, а не *отвергать* их, темноты их ради,—вот требование жизни, обращенное к каждому из нас. Бессознательным ответом художника на это требование и явился „Никон Староколенный“.

IV.

Понять, а не отвергнуть черную Россию— с этого я начал, этим и кончаю. Я не говорю, что „черной России“ нет, что есть только „темная Россия“. Всегда и везде есть черные и только черные деяния—во всякой стране, у всякого народа, во все времена,—деяния черные не от темноты народной, а от зверства какой-нибудь вырождающейся души. В них народ неповинен. Беда народа в другом — в стопудовых жерновах темной мысли. И когда сама жизнь с силою поворачивает их,—тогда народная жизнь выходит из привычной колеи, ищет новых путей, теряет почву под ногами Такой поворот как раз переживает теперь наша деревенская темная Россия, и в результате — много черного, ужасающего поверхностных наблюдателей. Литературные плакаль-

щицы вопят о разложении деревни, о „хулиганстве“ среди деревенской молодежи; воплями этими даже обратила на себя внимание года два-три назад бездарнейшая книга Родионова „Наше преступление“. Во всем этом есть доля истины; но доля истины—худшая ложь. Истина в том, что громадный сдвиг вековых жерновов отражается на душе народной, что много и черных деяний творят выбитые из вековой колеи люди. Но все-ли эти деяния подлинно черные, нет-ли среди них только темных снаружи и светлых внутри (мы видели такой пример на Никоне Староколенном)—какое дело до всего этого нашим литературным вопленницам?

Два подлинных художника возвышают свой голос в это время. Один из них показывает победу жизни над отвергающим народ, над обвинительным актом против всего народа; другой говорит нам, что жива душа народная, что надо лишь уметь ее понять. Оба они говорят нам это только художественными образами—и тем вернее, тем ценнее бессознательно таящаяся за образами мысль. Бодрое и радостное чувство веры в жизнь и веры в русский народ является в результате этих двух произведений, таких, казалось бы, нерадостных. Воистину, жив Бог наш, жива душа наша! И хотя еще много и много лет пройдет до того времени, пока новую муку дадут русскому народу тяжелые жернова жизни — что до того! Лишь бы не оскудевала наша бодрость и наша вера в новую жизнь—в жизнь, творить которую призван каждый из нас.

1912 г.

МОХОВОЕ БОЛОТО И КЛОПИНЫЕ ШКУРКИ.

I. Моховое болото.

Странные бывают совпадения. Писал я о „черной России", о следователе Боброве, о Никоне Староколенном. Открываю затем ноябрьскую книжку „Русской Мысли" за 1912 г. — и вдруг нахожу в ней подлинный отрывок „из дневника" того-же Никона Староколенного, слегка разбавленного следователем Бобровым... Правда, это уже современный Никон, это уже „модернизованный" Староколенный: он теперь в журналах пишет, лекции читает, в религиозно-философских обществах председательствует; теперь он носит имя уже не Никона, прозывается уже не Староколенным, теперь имена его многи суть. Так, под отрывком „Из дневника" стоит подпись: „С. Булгаков"; но на это внешнее отличие стоит-ли обращать внимание? Гораздо интереснее и важнее то внутреннее сходство, которое заставляет отождествить С. Булгакова (и не одного его) все с тем же вечным Староколенным. Эпоха и культура изменились, философия и религия остались прежними.

Здесь интересна не личность, здесь интересен тип; интересна сущность статьи Староколенного наших дней, прошедшего через всю европейскую культуру и сохранившего всю староколенную психологию дней былых.

Статья „Из дневника" С. Булгакова написана им по поводу выборов в четвертую Государственную Думу; по этому частному случаю русской жизни выражает свою общую веру (или неверие) в Россию староколенный человек нашего времени. С. Булгаков принимал близкое участие в выборах, воочию увидел „с какой бесцеремонностью, с каким неуважением к праву и самой идее выборов велась эта выборная кампания". Он рассказывает известные всем деяния высшей церковной и административной власти— как губернатор и архиерей устраивали выборы, как „предвыборное бюро при святейшем синоде" рассылало свои инструкции, как архиерейские угрозы висели над головами духовенства, и так далее, и так далее... Скучно это повторять: так хорошо известны всем все эти факты... Но по существу, касающемуся русского народа, — что-же в них грустного? что в них смущающего нашу *веру в Россию*, а не в администрацию, *в русский народ*, а не в губернаторскую канцелярию, не в консисторию?

Но вера Булгакова иная, и он впал в отчаяние. „Россия! родина! те, кто любил тебя, жил тобою, верил в тебя, знали-ли они от тебя что-либо, кроме муки? За муки любили, через муку верили, но и когда колебалась вера, когда бросали они тебе в лицо горечь

плача и желчи, они знали, что для них нет жизни, вне тебя, нет родины, нет обетованной земли, кроме тебя, Россия, нет скинии завета, кроме сердца твоего, святая Русь! И, отчаиваясь в тебе, в себе-же отчаивались, произнося приговор над тобой, себя судили"... Откуда этот истерический отрывок? Из обвинительного акта всему русскому народу следователя Боброва, измученного черными деяниями народными? Нет, это отрывок „из дневника" С. Булгакова, теряющего веру *в русский народ* оттого, что *бюро при святейшем синоде* устраивало выборы!

Я хорошо знаю, что душевная трагедия С. Булгакова и всех его староколенных единомышленников глубже этой поверхности вопроса; к этой „глубине" я еще вернусь. Но все таки: чувствуют-ли они всю величину противопоставления *бюро* и *русского народа?* Понимают-ли они, до какой степени скудна и бедна их вера в „святую Русь", о которой они говорят всегда с такими истерическими нотами в голосе? Я понимаю следователя Боброва, который потерял свою веру от ужаса перед черными деяниями народными; но попробуйте понять человека, который теряет ее от грязных поступков какого нибудь станового пристава! Я сто раз согласен, что всякий акт насилия и произвола, светского или церковного, возмутителен; негодуйте и возмущайтесь, если вам нечего больше делать... Но грусть и отчаяние о самом народе, о „сердце святой Руси", как вывод из административного произвола—вот, поистине, нелепейший из всех возможных выводов! И если вы хотите видеть „маловера",

усомнившегося о Господе своем, то вот он перед вами на страницах „дневника" С. Булгакова. Ибо веру его в русский народ, в Россию, легко колеблет и бюро при святейшем синоде, и предвыборные губернаторские циркуляры...

Конечно, трагедия наших искренних Староколенных глубже этого внешнего вывода. Трагедия их двойная: они ушли от широкого демократизма и пришли на лоно православной церкви. Они думали, что „господствующая церковь" даст им возможность остаться истинными демократами и в лоне своем, ибо где-же—думали они—где-же и искать истинного демократизма, как не в подлинном христианстве? А таким подлинным христианством они считают историческое православие,—в этом их „вера сердца", их скиния завета. И тут началась для них кара исторической Немезиды.

С. Булгаков и все присные его, староколенные люди наших дней, стали „ни павами, ни воронами" современности. Они рѣзко порвали со всеми демократическими силами страны. Посмотрите, с каким отчаянием в этом же своем дневнике „отбрыкивается" С. Булгаков (это его выражение!) от якобы вечно безответственной оппозиции и от якобы вечно-слѣпого революционизма, вообще от всякой „левизны"; послушайте, с каким огорчением должен он признать, что иногда от „левизны" в русской жизни „отбрыкаться слишком трудно"... Его идеал – „идейный октябризм", до которого „еще не дозрела наша политическая культура"... И в то-же время он понимает, что современное русское дворянство—

„политический труп, своим разложением отравляющий атмосферу"; он понимает еще многое другое, что будет вечно-враждебно тому „правому" стану, куда влечет его вырожденно-славянофильская идеология.

И вот современные „ни павы, ни вороны" ищут спасения, ищут осуществления своих демократических идеалов на лоне современного православия. Это они делают в то время, когда монах Илиодор уходит из православной церкви оттого, что не находит в ней отклика и почвы для посева своих, пусть нелепых, пусть демагогических, но все же „народных" мечтаний. Все это — Староколенные, которые никак не могут перемолоть малое зернышко стопудовыми жерновами своей мысли. Все это — Староколенные, которые ищут ответа в церковных книгах на все — и на вопрос об антихристе, и на вопрос о картофеле...

Никон Староколенный нашел в Библии свою веру в царя, помазанника Божия. Когда-то, не так еще давно, и наши модернизованные Староколенные мистически обосновывали идею самодержавия. Они теперь бросили уже эту позицию и разбрелись кто куда: кто в чаяние скорого пришествия антихриста и конца мира, кто в более земные, „картофельные" мечты о „третьем Риме". С последними и С. Булгаков.

В эти пережитки старой славянофильской идеологии он верит не менее упорно и слепо, чем Никон Староколенный в своего библейского царя-помазанника. „Слепо, глупо верую — восклицает он в своем дневнике — в неотменность призвания и избрания России и живу

этой верой"... Россия призвана и избрана об'единить православие, создать столицу его в Константинополе, „третьем Риме"... С трепетом сердечным читает Староколенный наших дней о победе болгар над турками и заносит в свой днёвник, что „доблестная православная рать славян теснит турецкие полчища"... Для него это не люди, одинаково страдающие, одинаково погибающие: нет, это, с одной стороны, дикие „полчища", а с другой—„доблестная рать", это полумесяц, попираемый крестом. „Пробил знаменательный час истории! — восклицает Староколенный:— наступила година, которой ждала старая Русь с ее мечтою о третьем Риме, столице православного царства, приближается срок для исполнения политического завещания Достоевского о том, что рано или поздно Константинополь должен быть наш"...

Помните отчаяние Никона Староколенного, когда он убедился, что жизнь идет своим путем, что его призвание спасти Россию оказалось не „богозванством", а самозванством? „Ну, рубите же мою голову: Никон Дорофеич свою обязанность не выполнил!" Так вот, войдите в психологию С. Булгакова, этого Староколенного наших дней, который начинает видеть, что „призвание и богоизбрание России" спасти мир было тоже не „богозванством", а навязанным ей самозванством. Жизнь идет своим путем, и „третий Рим" остается далеко от большой дороги истории, на проселочных колеях... Ну, рубите же голову России,—Россия своей обязанности не выполнила!

Вот где лежит корень отчаяния С Булгакова, а не в том, что синод с губернаторами устраивали выборы... Отчаяние и горе его в том, что даже наследники славянофилов, члены „общества славянской взаимности", готовы отказаться от „мечты о Царьграде", лишь бы заполучить „Босфор-Дарданельскую двойную кишку!"). „Кишка", вместо Царьграда; картофель вместо антихриста—есть от чего в отчаяние притти! И так-же как Никон Староколенный, потеряв веру в себя, пришел к мысли о погибели России, обвиняя в этой погибели всех— и безбожную науку, и жидов, и докторов, и чугунку, и суды,—так и Староколенный наших дней, увидев крушение своих надежд, пришел в отчаяние и готов всех обвинять в этой, несомненной для него, гибели России. Стопудовые жернова его мысли не могут по иному пути размолоть ни самого малого зернышка.

Вот, повторяю, источники отчаяния С. Булгакова,—быть может, еще им самим полусознанные Раз мечта его не исполняется жизнью, раз Россия идет по иному пути,— значит Россия гниет, гибнет, стоит над пропастью.

„Россия гниет заживо,—вот что похоронным мотивом ныло у меня в душе"... Кто же виноват, кто губит ее? О, конечно—*нигилизм*, нигилизм двойной: „интеллигентский и бюрократский". Этим ядом глубоко отравлена Россия. (Так и Никон Староколенный жаловался на безбожную науку и неправедных судей).

*) См. статьи М. Пришвина „По градам и весям" в „Заветах" 1912—1913 гг.

Все об'ясняется этим—даже соединение „святой Руси“ с „российским хамством“ (о чем мне много пришлось говорить в прошлой статье).. Ах, это очень и очень заржавленное оружие, оно теперь ранит только самих вооруженных им; ибо обвинение подлинной нашей интеллигенции—вечно пламенеющей, вечно ищущей, вечно алчущей,—обвинение ее в „нигилизме“ есть безвредная ложь, удар по пустому месту, падающий на голову самого нападающего. Ибо еще вопрос: не душа-ли самого „обвинителя“ выедена до тла? и не он-ли гниет душевно, думая, что гниет Россия?

Я думаю, что да. И это несмотря на то, что сами по себе все эти Староколенные очень чистые и искренние люди. Разве Никон не был человеком чистого сердца и искренней мысли? Но стопудовые жернова толкали его на узкую, мшистую тропу,—он и погиб на ней среди всякой лесной нечисти, среди болота, он сам превратился в какую-то болотную, мшистую кочку. А ведь когда шел по болоту--верил в свою силу, верил в свою правду, которую он донесет до высшей точки пути. „От Исайи, от Исайи хвачу: слушайте слово Господне, князья Содомские!“ Это—последние слова, с которыми погибает в болоте Никон Староколенный.

Признаюсь,—с жутким чувством читал я эти-же самые слова—последние строки из „дневника“ С. Булгакова: „слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский!“ Булгаков—„от Исайи, от Исайи хватил“, и навсегда слился с образом Староколенного.

И С. Булгаков не один: есть и кроме него такие же староколенные люди. Узкую тропу мохового болота считают они верной дорогой; они всегда готовы „хватить от Исайи", обличая всех неверующих и инаковерующих. Погибая в болотной трясине, они плачут о гибели России, которая не идет их путями; превращаясь в болотные кочки, они искренно думают, что „Россия гниет". И если не сойдут они со своей моховой тропы, то не избежать им участи Староколенного: общая у них психология, общая и судьба.

Один только выход у них, одно спасение: верить не в свою „слепую, глупую веру" (слова С. Булгакова), а в более подлинное, более основное, в первую причину, в первое начало национальной жизни—верить *в русский народ*, в душу его. Они не верят в это, в основное, а верят в свое, выдуманное, производное. Так верил Никон в библейского царя Саула; так верит С. Булгаков „в неотменность призвания и избрания России", в ее богозванство для спасения мира. Обе веры эти одинаково обречены на гибель где-нибудь в моховом болоте истории, далеко от ее великого пути. Верьте не в Саула и не в богоизбранство России, а в великие силы русского народа, которые помогут ему одолеть все внутренние темные влияния и выведут его на великую дорогу истории, —вот что хотелось бы сказать и С. Булгакову, и всем староколенным, которые так горько плачут, казалось-бы, о России, а в действительности— о самих себе...

1912 г.

II.

Клопиные шкурки.

Кто странствовал по глухой проселочной России, ночевал в земских избах или в грязных номерах захолустных гостиниц, — тот знает, что такое „клопиные шкурки". Изголодавшиеся, высохшие, сухие клопы, от которых одно только спасение—встать, одеться и терпеливо ждать рассвета, или уйти на вольную волю, на свежий воздух. Всегда вспоминаются мне при этом врезавшиеся в память слова из одного рассказа: „У меня на кухне завелись клопы, я их жилище-то и замазал, и хоть бы один, все пропали. Против шкурки их... от шкурки уж житья нет, ничем ты ее не выведешь!"

Я очень извиняюсь заранее, ибо никого не хочу обидеть или оскорбить таким уподоблением... Но что же мне делать, если эти мои литературные и житейские воспоминания упорно возвращаются ко мне каждый раз, когда я сижу на заседании петербургского религиозно-философского общества? И чем виноват я, если всякий раз во-время религиозно-сухого доклада, во-время злобно-кусательных прений на этих заседаниях, память моя невольно воскрешает мучительные ночи, бессонные войны? И неужели же правда, что „против шкурки их... от шкурки уж житья нет, ничем ты ее не выведешь"? Неужели только и остается, что ждать рассвета, или

просто отряхнуть прах от ног и уйти совсем от этих заседаний на свежий воздух, на волю вольную?

Уйти совсем и можно и должно, — но не прежде, чем уяснив себе духовный облик той группы людей, которая думает, что делает какое-то дело в этом религиозно-философском обществе. Я говорил недавно о разных группах, кружках и углах современной русской литературы и общественности; в одном из таких „углов" обитает группа „религиозно-общественная", к которой надо отнестись не менее внимательно, чем и ко всем остальным. Много литературно-известных имен соединено в религиозно-философских обществах Петербурга и Москвы; с ними надо считаться. Н. Бердяев, С. Булгаков, Д. Мережковский, Андрей Белый, Вяч. Иванов—все это интересные и в разной мере крупные имена. Но и не в именах дело, а „дело в деле", в той общественной и религиозной проповеди, которая ведется в этих кругах. Как должны мы относиться к этой проповеди? друзья нам или враги сами проповедники?—все это каждый должен себе выяснить. Ибо у каждого из нас есть *своя* религия, есть и об'единяющая нас общая вера, общее делание. Посещая заседания петербургского религиозно-философского общества, я внимательно присматриваюсь и прислушиваюсь и к докладчикам, и к оппонентам, и к очень типичной по составу аудитории... И если все больше и навязчивее преследует меня в это время мысль о клопиных шкурках, то это только неотвратимый результат того, что я вижу и слышу на этих заседаниях.

Дело, конечно, не в темах. Темы все, казалось-бы, тесно связанные с жизнью. Народ. Интеллигенция. Церковь. Власть. Но все дело—в отношении к теме, в естественном росте этой темы, в ее глубокой связи с корнями, с почвой, с землею. В лесу растут ландыши и фиалки; но они же продаются и в магазине искусственных цветов. Беспочвенность и надпочвенность того, что творится в религиозно-философском обществе не может не поразить всякого, кто пристально вглядится со стороны в это бесплодное плетение словесных узоров из заседания в заседание. И при этом—страшная жажда почвы, земли, живой крови, духа жизни.

Лет десять тому назад этот дух жизни воистину был на собраниях юного религиозно-философского общества. Отлучение Толстого от церкви, вопрос о свободе совести, об отношениях церкви и власти, спор об искажении христианства в исторических церквах—как все это волновало тогда, как было ново, насущно, остро! И все это теперь старо, никчемно, тупо. Все решено и все выяснилось. Старые споры ведутся только по привычке, по ленивой инерции.

Одни твердо прикрепились к бытовому религиозному укладу и нашли в нем успокоение. Это—путь московского религиозно-философского общества во главе с С. Булгаковым. Куда ведет этот путь,—мне уже пришлось сказать на этих страницах: он ведет в топкое „моховое болото“ истории, в котором рано или поздно погибнут все эти староколенные люди, зарастут мхом, превратятся в болотные

кочки. И—общее их свойство: погибая в болотной трясине, горько плачут они о гибели России.

Другие не пожелали гибнуть на этом старом пути. Они захотели уйти от мохового болота истории. Они бросились на твердую землю, стали искать спасения в живом — в „народе", в „интеллигенции" (вечно и неправильно их противопоставляя). И все-таки они гибнут — от безводия, от сухости, от неутоленной жажды: и причины их гибели не менее поучительны, чем тяжелая история гибели староколенных в моховом болоте.

Почему они гибнут? На это глубокий ответ дает древняя гностическая легенда—комментарий к первым стихам евангелия Иоанна. „В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог". Это учение о Логосе, о жизни мира, стало основой всей христианской философии. Но—говорит легенда гностиков,— Сатана в искривленном подобии отобразил мировое Слово жизни и вложил в уста первозданному человеку беглое, мимолетное, „слово", случайное и сухое. И кроме Слова жизни воцарились в мире пустые и бесплодные слова.

„Народ"—это, конечно, подлинное Слово жизни, но лишь тогда, когда к нему вплотную припадают приобщиться, когда не оставляют его случайным, мимолетным словом и только словом. Подлинный источник воды живой и „интеллигенция" (если не понимать ее в узком „классовым" смысле); но и к ней надо подойти вплотную, надо стать ею, надо слиться с ней. Нельзя стоять в безмерном отдалении от Слова жизни и лишь повторять мертвые

слова и только слова: „народ", „интеллигенция" и какие бы там ни было другие. В безводной пустыне словесных схем можно только засохнуть, потерять в себе все живое, обратиться в сухие „шкурки" на горе себе и другим.

Эту участь испытало петербургское религиозно-философское общество под эгидой Д. Мережковского. Как последний „ходил в народ" и „ходил в интеллигенцию"—это достаточно известно. Как печально кончилось и его „хождение в народ", и его „хождение в интеллигенцию"—об этом тоже не раз приходилось говорить. Безнадежно опутанный словесными схемами, он невольно на этот же путь толкает и все религиозно-философское общество,—пока в нем присутствует.

Бог познается в тишине, Бог познается в молчании, Бог познается в тайне. В тишине, в молчании, в тайне человеческой души. И кто бы ни был для человека этим Богом,—не на площади, не на толкучке познает его человек. На площадь идет потом человек проповедывать своего Бога—раз он познал его, раз он уверовал в него. Но *искать* Бога своего в бесконечном толчении слов, в упорном повторении все тех же словесных схем—вот, поистине, хула против духа, которая не простится. Когда присутствуешь на заседаниях религиозно-философского общества, слышишь эту толчею „божественных" слов, этот упорный и длительный грех против третьей заповеди, постоянное произнесение имени Божьего всуе,—то невольно и с глубоким сочувствием вспоминаешь обычную фразу одного из „ста-

рых декадентов", подлинно ушедшего в народ А. Добролюбова. „Помолчим, брат!" — часто говорит он собеседнику, утомленный обилием ненужных слов. Так рассказывает о своей беседе с А. Добролюбовым как раз Д. Мережковский... Что, если бы этот нашедший своего Бога человек попал хоть на одно заседание религиозно-философского общества!

На одном из заседаний общества сам председатель его А. Карташев, в горячей речи назвал то, что они там делают,—религиозным блудом, религиозным развратом. Это очень резко сказано; но я готов думать, что председатель религиозно-философского общества глубоко и печально прав *). И не только в том дело, что произносится там безмерное количество никому ненужных слов. То выйдет какой-нибудь „академик" и с добрый час времени склоняет на все лады слово „энтэллэгэнцэя", так и выговаривая его через пять „э". То какой-нибудь добродушный толстяк „приват-доцент", восторженно, бестолково, многословно и час, и два говорит на любую тему. То какой-нибудь юный „модернист" (хотя юных там немного) долго и монотонно журчит на тему о том, что „центростремительная сила и стихийная окраска религиозных стремлений координируют эмоциональную окраску центробежного религиозного устремления"... Ненужных, пустых слов не оберешься. Но разве в этом дело? Дело в том, что такими

*) Впоследствии председатель тщетно пробовал отречься от своих слов: „сторонние свидетели" привели в печати и гораздо худшие его слова—о „словесном онанизме" на заседаниях этого общества.

ненужными и пустыми словами, истрепанными и истасканными, являются здесь в конце концов все подлинные слова жизни, Слово жизни. И поистине—если это не „религиозный разврат“, то где же и искать его? В чем же может он резче проявиться?

Вот судьба нашего российского „нео-христианства“, так высокомерно выступившего лет десять назад с провозглашением последней и окончательной религиозной истины. Тогда, десять лет назад, журнал „Новый Путь“ возвещал миру истину—скорое светопреставление. Тогда наши „нео-христиане“ чувствовали себя призванными сказать миру великое и важное слово. Тогда они начали презирать всех, кто был „не-они“, и твердо верили, что от малейшего движения всех и каждого из них, нео-христиан, зависят конечные судьбы мира (подлинные их слова!). И вот прошло десять лет. Дела мирские идут прежними путями; а что же стало с нео-христианами, проводниками мира на „новый путь“? Что стало? Что осталось?—Одни словесные схемы, одни бесконечные слова, один словесный „религиозный блуд“, о котором со справедливой горечью говорит руководитель всей теперешней нео-христианской кучки модернистских сектантов... Проповедь, которая должна была мир перевернуть, свелась к узкому сектантству, к бесконечному и бесплодному упражнению в религиозных словах. Тут и раздвоились пути нео-христианства. Одни из былых пророков ухватились за старые формы, превратились в староколенных людей, пошли в моховое болото истории. Их участь — гние-

ние, смирение, елейность; и соединены все эти былые пророки нео-христианства, повторяю, в московском религиозно-философском обществе. Другие из них сплотились в сектантскую ячейку петербургского религиозно-философского общества, засохли в словах, озлобились на мир и друг на друга, обратились в какие-то клопиные шкурки. Елейное смирение первых и сухую злобность вторых может теперь не увидеть лишь тот, кто намеренно видеть не хочет.

О первых, о моховом болоте — мне уже пришлось говорить. Но, чтобы не возвращаться к старому и в то-же время не быть голословным, я сошлюсь здесь только на одну книгу, составленную участниками московских религиозно-философских собраний: „О религии Льва Толстого" (1912 г.). Книга местами интересная; но для чтения ее надо запастись терпением, чтобы не возмущаться духом от елейного смирения достигших истины пророков. Книга драгоценнейшая для характеристики всех этих староколенных, твердо познавших истину и гниющих в моховом болоте. Книгу эту составители смиренно возлагают „со знамением креста на бескрестную могилу" Л. Толстого, твердо уверенные в том, „что такая работа не остается безразлична" для судьбы Л. Толстого в загробном мире, что „насколько нам, живущим, удается раскрывать себе и другим его (Толстого) заблуждения, соблазняющие людей, приносящие вред их душе,—мы тем облегчаем и его (Толстого) отягченную этим сознанием совесть"... Разве это не предел душевного разложения чело-

века, убежденного, что только он—в истине. а все остальные—в гибели греха? И что-же другое остается этим людям, как не „от Исайи хватить", грозно обличая всех верующих иначе? Одно только могут они делать, кроме этого: елейно молиться о вразумлении и прощении всех инаковерующих. „Да простит ему (Л. Толстому) Господь!" (стр. 32). „Прости ему, Господи!" (стр. 57) „Да простит ему Господь!" (стр. 58). Так молит Господа Бога и ходатайствует за Льва Толстого некий действительный член московского религиозно-философского общества господин Зеньковский. Понимает-ли он, насколько он неприличен в своей елейно-смиренной гордыне? Нет, не понимает. Он и статью-то свою начинает с обещания— „всей полнотой душевных сил" своих „выпрямить неровности" Льва Толстого, „помолиться о его грешном"!

Господин Зеньковский, выпрямляющий неровности Толстого и ходатайствующий за него пред Господом! Это не случайное явление. Тот же тон и в статьях главного сотрудника, С. Булгакова, тот же тон и в общем редакционном предисловии. И если здесь вы не увидите бесспорнейшего гниения душевного, если вы не увидите, что путь этот лежит в моховом болоте истории,—то более убедительных примеров у меня не найдется. Разве только могу дополнить все сказанное еще одной цитатой из той же книги. Другой действительный член тогоже общества, небезызвестный кн. Евгений Трубецкой, с величайшим простодушием, что называется глазом не моргнув, противопоставляет христианство — брандовской формуле

„все или ничего". Оказывается, что, вопреки этой формуле духовного максимализма, „с христианской точки зрения *что-нибудь* всегда лучше, чем *ничего*" (стр. 70). Это простодушное признание христианства духовным минимализмом—последний штрих к картине „идеологии" людей, упорно вязнущих в моховом болоте.

Действительные члены петербургского религиозно-философского общества, к сожалению, не издали еще подобного сборника своих статей, в котором, как солнце в малой капле вод, отразилась бы вся духовная жизнь этого общества. Если они когда-нибудь издадут такую книгу, то—заранее можно предсказать—ее главными чертами будут сухость и злобность: слишком явно черты эти бросаются в глаза на заседаниях, на докладах, на прениях. Сухость—ибо ушли они от жизни в словесные схемы, в сектантские построения; злобность—ибо негодуют они, что все живое не с ними, сторонится их. Эту последнюю черту особенно тяжело наблюдать в резких и грубых возражениях, которые постоянно позволяет себе делать всем инаковерующим главный вдохновитель общества, Д. Мережковский. Казалось-бы, что все это—внешность, случайность, все эти грубые окрики, в роде: „вы не понимаете, о чем вы говорите!", или „вы не нюхивали религиозных тайн!", или „чего вы смеетесь? чего смеетесь? советую вам серьезно посмотреть на вещи!" Все это выкрикивал Д. Мережковский по адресу П. Струве; с другими оппонентами он еще менее того стеснялся. Все это—не случайность и не внеш-

ность; это—внутренний тон общества, узкая сектантская злобность, взаимное поедание друг друга. Ибо нет соприкасания с живой жизнью, высохли души, превратились в язвящие друг друга „шкурки"

И при всем этом—страстное и бесплодное желание соприкоснуться с живой жизнью, выйти из своей сектантской ограниченности, подойти к народу, к подлинной правде его, к живой душе его. Желания и стремления эти остаются бесплодными, выливаясь подчас в самые неожиданные формы. Так, например, роль воды живой в этом религиозно-философском обществе временно играл даже беллетрист из „Русского Богатства" и публицист из „Речи", Кондурушкин. Мне, повидимому, никогда не придется говорить о нем, как о беллетристе: он не подает в этом отношении никаких надежд. Говорить о нем, как о публицисте, тоже вряд-ли придется, так как я не могу заставить себя дочитать до конца хоть одну из его статей, которые он пишет, жеманясь и ломаясь под Розанова. И вот этот-то писатель играл роль первого тенора в религиозно-философском обществе, роль какого-то представителя от „народа". Как надо было изголодаться о живом, если даже Кондурушкин мог хоть временно сойти за суррогат жизни в этом религиозно-философском обществе! Выступают иногда с докладами и более подлинные, живые люди, еще более подтверждающие своими выступлениями общее правило, общую сухость и бесплодность всех этих заседаний, прений, споров и укусов.

Голод есть—но ненасыщаемый, стремление есть—но бесплодное, ибо бесплодно и ненасыщаемо всякое узкое сектантство, уходящее от мира. И здесь причина того, почему они так бесконечно далеки от всех людей жизни, всех людей живого дела Они Слово жизни подменили безжизненным словом; они ушли от мира, ушли от жизни в словесные схемы. Они думают, что мир должен быть преображен и спасен одним человеком (кто бы ни был этот человек), — и мне уже пришлось указать на величайшее кощунство этой веры. Ибо, повторю еще раз, в мире—спасение человека, а не в человеке—спасение мира...

Тут может быть и лежит глубочайшая колея расхождения между ними и нами, между тем, что исповедуем „мы", и что проповедуют „они". *Мы* верим в человека „имманентного", в человечество „имманентное", не „преображенное". мы строим на этой основе и ждем победы на этой почве. И в этом отношении мы—„реалисты", каковы бы ни были мистические переживания отдельных из нас. *Они*— верят только в человечество, чудом „преображенное", строят свою веру только на нем, ждут победы от чуда, от преображения и вне его не видят спасения. И в этом отношении они—„мистики" (хотя, быть может, в переживаниях своих даже и близко к мистицизму не подходившие). Они верят в трансцендентное, мы—в имманентное. Они живут в абсолютном, мы—в относительном.

Боже мой, какая ограниченность и узость— жить и бороться лишь во имя относительного и имманентного! Узость?—Позвольте мне при-

вести еще одну мысль из все той же книги московских действительных членов, выпрямляющих Толстого. „Злейший враг всякой религиозной мысли есть тот имманентизм, коего сущность заключается в утверждении здешнего, земного, как безусловного. В чистом своем виде он выражается в совершенном и полном отрицании запредельного; для религиозной мысли такой имманентизм не опасен"... (стр. 74). Не опасен— правда; но только разве во время Бюхнера и Молешотта мог царить такой наивный имманентизм. Современный имманентизм не занимается философски-бесплодным *отрицанием* „запредельного", он лишь *не принимает* его; подобно тому, как часто бывает „неприятие мира" здешнего, имманентного, так точно современный имманентизм говорит о возможности „неприятия мира" потустороннего, трансцендентного. И с тем большей силой принимает и утверждает он жизнь по-сю-стороннюю, имманентную, земную, утверждает „приятие мира", плоть и кровь, все живое. Эта „узость"—есть только приобщение к подлинной плоти мира, к жизни, к живому человеку, к народу, к человечеству,— и приобщение не в словесных схемах, а в живой, действенной работе, не в слове, а в деянии. Человек, который хочет воистину жить, должен вмешаться в самую „гущу жизни", жить всем и во всем, не замыкаясь на голых вершинах религиозных или эстетических схем, лежащих вне жизни, вне красок мира. И еще одно должен выполнить человек, который хочет воистину жить: он должен *любить человека.* „Leben ist Liebe"—ибо вне любви об-

ласть смерти и тлена. А любить бесплодно, отвлечено, на голых вершинах—нельзя; только в действенной любви претворение жизни.

Действенная любовь и участие в „гуще жизни"—вот два неизбежных условия для всего воистину живого. Где их нет—там смерть. И вот отчего мертвы словесные схемы, которые провозглашаются с треском и шумом на каждом заседании религиозно-философского общества: за ними нет ни действенности, ни любви. Нет любви—и оттуда та злобность, с которой высохшие клопиные шкурки поедают друг друга в поисках живой крови. Нет действенности—и оттуда та вялость и сухость, от которой бежит все живое.

Действенная *любовь к человеку*—но ведь это опять „относительность"! Да, и в этом разница того, что было и что есть. Прежде человек любил, жертвуя собою во имя любви к абсолютному—к тому, что он считал абсолютным; он жертвовал собою во имя и во славу Бога, Государства, Человечества. И до сих пор жертвы эти не прекратились. Протопоп Аввакум погиб на костре во имя любви своей к Богу, Брут погиб во имя любви к Государству, безвестные герои погибали во имя любви к Человечеству. И как бы все они ни понимали то, чем жили и что любили, но во всяком случае любовь их была *любовью к абсолютному*. Жертвы во имя такой любви—древни, как история. Бесконечно труднее другое—жить, строить и гибнуть во имя *человека*, во имя любви к нему. И уже от человека восходить к народу, к человечеству, к Богу—к вечной и единой жизни, в кипении кото-

рой весь „смысл“ человеческих деяний и поступков.

Что же? Эта „религия“ станет когда нибудь „общеобязательной“, мировой? Я думаю, что вообще все великие мировые религии уже определились и *кончились*. „Христианство не удалось“—сказал когда-то Достоевский; но разве „удались“ магометанство, буддизм и все великие религии мира? Время мировых религий прошло, и напрасно теперь разные господа Рудольфы Штейнеры и госпожи Анни Безант пытаются клеить теософские коробочки: они смогут собрать вокруг себя из сотен миллионов человечества только жалкую кучку сектантов. „Мировой религии“ больше не будет, как это ни трудно для человечества; трудно — ибо жить верою в мировое „трансцендентное“ неизмеримо легче, чем жить, страдать и гибнуть во имя „имманентного“, которое, однако, всегда было бессознательной верой громадного большинства всех людей.

Пора, впрочем, вернуться „к теме“, хотя я и не отклонился в сторону от нее. Мне хотелось только понять, об'яснить самому себе тот „угол“ современной русской литературы и общественности, который именуется „религиозно-философскими обществами“, столь много шумящими. Правда-ли, что они бесплодны? Правда-ли, что они обречены на гибель? И если да, то почему?

Когда начинаешь всматриваться в них и думать о них, то невольно вспоминаешь пресловутую детскую песенку о мужике и вороне. Помните? „Шел мужик через мост, на

мосту ворона; взял мужик ее за хвост, положил ее под мост—пусть ворона мокнет. Шел мужик через мост, под мостом ворона; взял мужик ее за хвост, положил ее на мост—пусть ворона сохнет"... И так далее, до бесконечности. Прошу извинить за шуточное сравнение, но судьба этой вороны очень напоминает мне судьбу двух наших религиозно-философских обществ, московского и петербургского: первое из них безнадежно „мокнет" в моховом болоте истории, а второе столь-же безнадежно „сохнет", превращаясь в клопиные шкурки. „Пусть ворона мокнет—пусть ворона сохнет": неужели так и предопределено на этих двух полюсах гибнуть нашему российскому нео-христианству?

Мне думается, что да. Почему,—я старался выяснить это на предыдущих страницах. И, по мере сил выяснив это, надеюсь, что впредь мне не придется говорить об этих углах нашей общественности. Человеку, стремящемуся к жизни, там нечего делать,—остается только уйти оттуда на свежий воздух, на волю вольную, предоставив всех, вершащих там словесные дела, их собственной судьбе. Жизнь идет мимо, и мы должны пройти мимо них. А там—пусть ворона мокнет, пусть ворона сохнет!..

1913 г.

БЫЛО ИЛИ НЕ БЫЛО?

I.

Роман „То, чего не было“ В. Ропшина (Савинкова) закончен: ровно год, с апреля 1912-го и до апреля 1913 г., печатался он на страницах „Заветов“. Сколько за это время было исписано бумаги по поводу этого романа—одному Господу Богу известно, но надо полагать, что такого критического „литературного материала“ хватило бы на все двенадцать книг журнала, от первой и до последней страницы.

Хорошо это или худо, такое преизобилие критических суждений? Я ответил бы словами народной побасенки: Хорошо, да не дюже! Худо, да не дюже! Конечно, хорошо для автора, что произведение его не прошло незамеченным, но—хорошо, да не дюже, ибо всему есть мера, ибо литературный шум не есть мерило ценности произведения, ибо шум этот, эта „славы дань“ часто есть только „кривые толки, шум и брань“. А согласитесь, что „кривые толки“ и „брань“—это уж совсем „худо“, и такого худого было в изобилии вокруг романа „То, чего не было“. Были и обвинения в „измене направлению“, и в плагиате, и чего-чего только не было! И все-таки—худо, да не дюже: во всех этих толках можно разобраться

теперь, когда роман закончен, можно посчитаться с возражениями, заслуживающими внимания, можно пройти мимо тех, которые внимания не заслуживают.

Я не собираюсь заниматься такими раскопками, а хочу лишь вплотную подойти к этому роману, как литературному произведению, уяснить себе его художественную ценность, буде таковая имеется, его общественное значение, его место в литературе. И главное—ответить на основной вопрос, с которым невольно обращаешься к каждому произведению: *было или не было?* Сейчас скажу об этом,—надо только сперва убрать с дороги ряд мелких „кривых толков", которые с самаго начала появились на пути романа „То, чего не было".

Главный из таких „толков" — обошедшее всю печать сенсационнейшее сообщение, что роман В. Ропшина является плагиатом, копией „Войны и мира" Толстого... Обвинение в высокой степени странное, ибо если бы роман этот был плагиатом, копией „Войны и мира", то о нем никто бы и не говорил, и не шумел, и не толковал... К тому же легко сказать: плагиат у Толстого, копия с „Войны и мира"! Легко сказать, но попробуйте это сделать! Исчерпывающе-убедительным представляется мне „доказательство" какого-то юмористическаго листка: вору не трудно украсть носовой платок, но пусть-ка попробует он стянуть и сунуть в свой карман Кельнский собор!

„Плагиат"—это, конечно, вздор, о котором не стоит серьезно говорить. Но уж если говорить о „заимствованиях", то скорее могли

обвинить В. Ропшина за перенесение в роман целиком одного рассказа А. Ремизова „Без пяти минут барин". Воображаю, как обрадовались бы литературные обвинители В. Ропшина, если бы в свое время заметили это. Но кража „Войны и мира" это—просто анекдот, на который можно отвечать только соответственным анекдотом об украденном соборе.

И, однако, за этим анекдотом стоит несомненная правда, которая имеет очень важное значение для всего романа. Украсть Кельнский собор нельзя, но строить свой дом в том же готическом *стиле* и *духе*—можно. Так и В. Ропшин строил здание своего романа под слишком явным влиянием стиля и духа Толстого и его „Войны и мира". Это сразу бросается в глаза, и сам автор не только не скрывает, но даже намеренно подчеркивает такое бесспорное влияние. Когда Андрей Болотов, например, сам цитирует роман Толстого, вспоминая на партийном с'езде описанные в „Войне и мире" заседания Hochkriegsrath'a и „директивы" Пфуля: „Die erste Kolonne marschiert", „die zweite Kolonne marschiert",—неужели здесь не ясно, что сам автор намеренно подчеркивает зависимость своего романа по стилю и по духу от великой эпопеи Л. Толстого? Критики и обвинители ломились здесь в открытую дверь.

Но отсюда же вытекает ряд выводов, из которых некоторые уже были, а некоторые еще не были сделаны. И уже эти выводы приведут нас к ответу на главный вопрос—*было или не было* то, что описывается в романе „То, чего не было".

II.

„То, чего не было“ есть роман *о революции, о революционере.* К этой громадной теме художник должен подходить не случайно, не с легким багажем десятка-другого зарисованных типов, а с твердым пониманием, с умением охватить весь круг событий обобщающим взглядом. Здесь „бессознательное творчество“ переплетается с ясно сознанной мыслью, одно помогает другому, одно вырабатывает другое— и взаимно влияют они друг на друга. Так было с Толстым, когда он писал свою великую эпопею и подготовлялся к ней. Историческая философия „Войны и мира“ была не случайной и не заимствованной откуда бы то ни было Толстым; зерно историческаго фатализма всегда было в его душе, и пережитое им на Кавказе и в Севастополе усилило этот росток. Власть массы, бессилие личности, предопределенность историческаго процесса— невольно в эти рамки у Толстого стали вкладываться картины, образы, типы; и, наоборот, художественное полусознанное творчество подкрепляло раз усвоенную историческую философию. Так создалась „Война и мир“, где и на войне, и в мире царит власть событий над человеком, где *бессилие личности*—аксиома истории.

Историческая философия эта всецело впитана В. Ропшиным и перенесена в роман „То, чего не было“: это несомненный факт, с которым вряд-ли кто спорит. Можно спорить лишь о том, было-ли это усвоением или меха-

ническим заимствованием чужой веры. Спор праздный, ибо В. Ропшин еще homo novus в русской литературе, за ним нет такого литературного прошлого, которое позволило бы наметить изменчивую линию его развития. У нас есть только две точки: „Конь бледный“ и „То, чего не было“,—слишком мало данных для суждения. Но именно потому надо сделать лучшее для автора романа предположение: не случайно принял он историческую философию „Войны и мира“, он пришел к ней изнутри, он ее не взял, а пережил и усвоил, не пересадил, а взрастил. Пусть так. Но эту—свою или чужую, все равно—философию истории он применил к совершенно особому роду явлений, типу людей—*к революции, к революционерам.* Что же могла дать аксиома *бессилия личности* в приложении к этой среде, к этим событиям?

Не странно-ли: Толстой, закончив „Войну и мир“, так-таки никогда и не сумел продолжить эту эпопею, так и не написал много раз начинаемых „Декабристов“! Отчего? Да все оттого-же, отчего не написал он и задуманного романа о Петре I: оттого, что „декабристы“ это—*революция*, оттого, что Петр I—*революционер*, и Толстой бессознательно чувствовал невозможность приложить к этим темам свою историческую философию *бессилия личности.* То-есть приложить-то можно было, отчего же, но тогда оба романа превратились бы в сатиру, в полное отрицание и Петра, и декабристов, ибо и тот, и другие, как и всякие подлинные революционеры, являются воплощением веры в *силу личности.*

Когда эта вера гордо выпячивается в Наполеоне, в Мюрате — Толстой ее беспощадно казнит; и вот отчего Наполеон вышел у него с явным налетом сатиры, про Мюрата нечего и говорить. Но художественный гений удержал Толстого от такой же сатиры на Петра или на декабристов, точно также как удержал бы его от сатиры на деятелей 1789—1793 гг., когда люди свято и пылко верили в свои силы в силу человека.

В. Ропшин сделал то, чего не сделал Л. Толстой: он приложил аксиому бессилия личности к революции и революционерам Но в то-же время он вовсе не желал, не думал, не предполагал писать сатиру—избави Боже! Он полагал, что пишет „об'ективный роман", правдиво описывает свои и чужие переживания, радости и печали; а многим читателям казалось, что это совсем не „об'ективный роман", а явная сатира. Этим об'ясняется по существу и тот протест против романа, который шел от „друзей и сторонников представляемого *Заветами* направления". Кто же был прав: автор или эти читатели? И тот, и другие,— ибо весь роман проникнут *двойственным тоном*; причина указана выше. Воспроизводится то, что было, но об'ясняется всюду философией бессилия личности. *Революцию* и революционеров автор хочет рисовать правдиво, но всюду освещает их *анти-революционной* философией истории, взятой у Толстого. В этом все дело. Ибо нет философии истории более анти-революционной, чем эта, выражаемая в аксиоме бессилия личности.

Что значит, в сущности, это жупельное для московских купчих слово: „революционер"? И кто „революционер"?—конечно, не с точки зрения „положения об усиленной охране", а в плоскости учения о психологии людей. Если „революция" есть только „насильственное ниспровержение существующего строя путем восстания", то куда денете вы того же Петра I, типичного революционера по духу? И в области мировой жизни и истории—разве не величайшим из всех „революционеров" является Христос? И неужели можно сомневаться в том, что (говоря словами из романа В. Ропшина) „революция—не только восстание, а глубокий идейный, — слышите, идейный переворот".

Это с одной стороны. С другой: неужели „революционер"—всякий, кто печатает прокламации, носит бомбу в кумачевом платке, говорит речи на „массовках" или приготовляет динамит? Неужели здесь мы будем судить только „по платью", не пытаясь проникнуть в самую душу явления? И неужели будем предавать анафеме тех, кто говорит нам прямо, что „революционеров" на свете—мало, что мещан от революции—много, что часто, кроме того, с „революционером" смешивают „авантюриста", и что в этой толчее типов часто теряются все начала и концы.

Говорит-ли все это автор романа „То, чего не было"? Нет, не говорит, не показывает нам этого образами и типами—и в этом, быть может, главная его ошибка. Знает-ли он, что в его романе о революционерах, нет почти ни одного революционера?.. Ибо какие же

„революционеры" все эти герои романа— Арсении Ивановичи, Веры Андреевны, Геннадии Геннадиевичи, Залкинды, Болотовы? *Почему* они „революционеры"? Потому ли, что живут „нелегально", создают „воспрещенное законом" сообщество, устраивают тайные с'езды и бросают бомбы? Но разве только этими внешними признаками, убедительными лишь для „агентов охраны", определяется лицо хотя бы русских революционеров шестидесятых-семидесятых годов; или, вообще, подлинных революционеров любой эпохи и любого народа? Разве внешней формой выражается внутренняя сущность, „дух" революционера?

Конечно, нет. Революционер есть воплощение *духовного максимализма*,—вот его глубочайшая сущность, каковы бы ни были ее проявления. Я не один раз писал уже об этом духовном максимализме, указывая, например, что подлинными революционерами являются Белинский и Герцен. Именно потому не вижу я революционеров в романе В. Ропшина... Вот почему так удивлял меня тот сердитый шум, который многие подняли вокруг этого романа, оскорбляясь за „неправильно" нарисованных в романе „революционеров". Много раз хотелось спросить у этих протестантов: господа, да неужели же вы не видите, что король гол? что почти ни одного революционера (не смотря на видимое их множество) нет в романе „То, чего не было"?...

Еще раз спрашиваю: понимал-ли это сам автор? Не знаю, но думаю, что все внимание

автора было направлено в иную сторону. это было предопределено воспринятой им исторической философией... Революционеры или нет, герои романа?—автору не до того, ему все время надо показывать, что герои эти считают себя руководителями масс, управителями событий, а что, в сущности, ими играют события, что личность бессильна, что люди—марионетки. Любимый герой автора, Андрей Болотов, постепенно приходит к этим мыслям—слишком явно мыслям самого автора, и в этом процессе постепенного уразумения аксиомы бессилия личности заключается значительная часть „психологического задания" всего романа. И когда Андрей Болотов окончательно приходит к вере автора, тогда он испытывает „чувство радости, чувство светлого душевного мира—точно он, наконец, отыскал ключ к решению вечной и неразрешимой загадки"... Но чем ближе он приходил к этому, тем дальше и дальше уходил он от духа „революции", ибо, повторяю, нет исторической философии более не революционной, чем та, которая строится на аксиоме бессилия личности...

III.

У Андрея Болотова, кроме вопроса о „личности", есть еще и другая „основная идея", заполняющая собою психологическое задание романа и являющаяся как бы „моральным стержнем" всего произведения. Это все та-же идея, на которой был в свое время построен „Конь бледный" того же автора, все тот же вопрос: вопрос о „крови". Где и в чем право

одного человека убить другого? Андрею Болотову кажется, что он споткнулся на этом вопросе; но разве один он! Вопросом этим у В. Ропшина заняты поголовно все, герои и не герои романа. Вот двое, готовясь на завтра к бунту в войсках, рассуждают: „умрем... но ведь не только умрем, ведь еще, быть может, убьем?" Только что встретившиеся после долгой разлуки брат и сестра, подростки, с первого же слова начинают спорить о том, „можно" или „нельзя" убить. Дружинники на московских баррикадах тоже ведут диспут о том, что „либо убить всегда можно, либо убить нельзя никогда". Примеров не оберешься: все, всюду и по всякому поводу поднимают все тот же вопрос; Андрей Болотов является лишь наиболее упорно развивающим эту линию мыслей, он наиболее ясно ставит и решает вопрос о своей и чужой жизни и смерти.

Вот как он ставит этот вопрос. „Нас расстреливают, вешают, душат... Так. Мы вешаем, душим, жжем... Так... Но почему, если я убил Слезкина (жандармского полковника)—я герой, а если он повесил меня, он мерзавец и негодяй? Одно из двух: либо убить всегда можно.. либо убить нельзя никогда"... Так он ставит вопрос. А отвечает на него следующим образом (так-же, как отвечал автор и в „Коне бледном"): убить нельзя никогда, ибо если бы „не убий" не было общеобязательной этической нормой, то тогда было бы „все дозволено". Существует абсолютная этическая норма „не убий", но в то же время жизнь приводит к неизбежности нарушения этой

нормы. Но, нарушая ее, „не надо говорить, что это позволено, что это оправдано, что это хорошо... Нет, надо иметь смелость сказать: это дурно, жестоко и страшно, но неизбежно"...

Андрей Болотов, высказывая такие до невероятия новые истины, думает, что ставит и решает „многотрудные и важные вопросы", которых его собеседники понять даже не могут. И нельзя сомневаться, что для него самого вопросы эти были, действительно, и новыми, и трудными, и важными. Но решение, к которому он пришел, до того детски-беспомощно, такой труизм, что по человечеству жалко этого славного малого: когда по необходимости убиваешь, знай все-же, что поступаешь дурно... Стоило огород городить из-за такого вывода, стоило мучаться на протяжении доброй половины романа! Вся беда тут—в половинчатости мысли, в недодуманности, я бы сказал даже—в трусости мышления. Ибо, если „не убий" есть абсолютная этическая норма, то и подчиняться ей надо абсолютно, не устраивая себе обходных дорожек. И если сталкиваются две противоположные „абсолютные" нормы (от героев „Коня бледного" мы слышали, что для них „убий" есть такое же абсолютное веление, как и „не убий"), то нельзя играть между ними роль буриданова осла. Вопросы Андрея Болотова гораздо сложнее, чем он думает; но и решаются они гораздо определеннее, чем он их решает.

Боюсь, что мне не удастся здесь достаточно подробно уяснить то воззрение, которое совершенно противоположно взглядам Андрея

Болотова, но которое тесно связано с историческим народничеством, и прежде всего с именем Герцена. Уяснению этого воззрения мне пришлось в свое время посвятить целую книгу („О смысле жизни"), и здесь я могу только в сжатом виде напомнить читателю: как должно (исторически „должно") отвечать на вопросы Болотова то направление, к которому Болотов принадлежит.

Вопросы, поставленные Болотовым, бьют гораздо дальше, чем сам он полагает. Вопрос об общеобязательной этической норме неизбежно опирается на неизмеримо более общий вопрос—*об об'ективном смысле жизни*, или об „об'ективной целесообразности". Что такое *цель*: есть-ли она независящий от человека принцип творчества природы, или она есть только точка зрения человека на природу? Для нас несомненно второе,—и уже в „Критике способности суждения" Кантом было установлено (и никем никогда не опровергнуто), что понятие „цели" имеет исключительно суб'ективное значение. Вот почему *конечная цель* совершенно недоступна человеческому познанию, как об'ективное понятие; но если в этой конечной цели мы условимся видеть *суб'ективный идеал,* то она становится и допустимой, и необходимой в человеческом познавании. Для нас такой конечной целью является *человек,* и суб'ективным идеалом является принцип этического индивидуализма: *человек—самоцель*. Выше этого этического принципа нет ничего; он одновременно является и мерилом наших поступков, и конечным идеалом нашего мировоззрения.

Но вот вопрос: можем-ли мы признать этот принцип этического индивидуализма—общеобязательной нравственной нормой? Не можем, ибо вообще отрицаем общеобязательную нравственную норму, самую ее возможность. Если бы она существовала, то существовала бы и об'ективная, вне суб'екта лежащая цель, существовал бы тогда и об'ективный смысл человеческой жизни, в которой можно только верить желающим. Мы далеки от этой веры, наше воззрение иное. Мы видим в каждой человеческой жизни глубокий *суб'ективный смысл*, видим его и в жизни всего человечества, но именно потому отказываемся верить в об'ективный смысл жизни. А если нет его, то *нет и общеобязательной нравственной нормы.*

В этом и заключается ответ на старые вопросы, возобновленные Болотовым. Но если этический индивидуализм не есть общеобязательная этическая норма, то отсюда,—думает Болотов,—следует, что „все дозволено". Так думает он, потому что стоит на почве логического противопоставления: если есть *a* и *b*, и если *a* нами отвергнуто, то остается принять *b*. Но и в этом он ошибается, ибо мы не принимаем *ни* того, *ни* другого, ибо наш этический индивидуализм зиждется не на почве логики, а на почве психологии. Этической нормы нет, и пусть этически „все дозволено", но существует, как факт, „психологическая норма" и растет с ростом человечества. Мы не можем убивать направо и налево наших личных врагов по той же причине, по которой не можем стать, например, людоедами:

этому препятствует вовсе не логический довод, вовсе не этическая норма, но лишь *непосредственное чувство*, не логика, не этика, а психология человека и человечества.

Ну, а если найдется человек, или найдутся люди, которые будут за пределами этой психологии? Да, такие люди есть, и ярким представителем их является созданный Достоевским тип „подпольного человека". Чем можно опровергнуть подпольного человека, если он провозгласит, что „все дозволено"? От этого лозунга общество людей защищается юридическими нормами. Но ведь это только палка; а разве палка—ответ? Нет, конечно. И ответа *нет* вообще. Но и наоборот: на наш лозунг этического индивидуализма—нет ответа у подпольного человека, ибо здесь нельзя „опровергнуть", здесь только можно „противопоставить" два полярных воззрения, здесь место не логики, а психологии. Наш этический индивидуализм, *как и решительно всякое иное этическое воззрение*, не имеет никакой общеобязательности, но, несмотря на это, является общей суб'ективной целью множества людей, является их суб'ективным идеалом. Наша вера в жизнь и вера в человека таит свои корни именно в этой почве.

И вот почему нам так не страшны те вопросы, которыми мучается Андрей Болотов. Нельзя оставаться на поверхности этих вопросов, надо вести „подкоп аршином глубже" их—и тогда неизбежно придем к их решению, тому или иному. Можно уверовать в об'ективную и абсолютную истину, трансцендентный смысл жизни и истории, в абсолютную

этическую норму — и к этому пути духовно ближе всего Болотов; но можно и отвергнуть общеобязательность нравственных норм, а принять „психологическую норму" человека самоцели, принять имманнетную жизнь и суб'ективный смысл ее. Тогда вопросы Болотова исчезают, но возникают другие, важнейшие, до которых Андрей Болотов так и не дошел...

И эта вторая возможность, это второе воззрение—не есть что-либо случайное, мимолетное, преходящее. Нет, это воззрение имеет глубокие корни в истории русской общественной мысли, оно тесно связано с Герценом и с его последователями. Андрей Болотов об этом и не вспомнил. Он все ходил кругом да около одного и того же навязчивого для него вопроса: либо убить можно всегда, либо убить нельзя никогда, но так-таки ни разу и не подумал, какой смысл влагает он в слова „можно" и „нельзя". Он не видел, что решение лежит глубже, что жаждущий может найти воду, глубоко копая землю, а не топчась на поверхности ее. А вместо этого он удовлетворялся детским ответом: когда убиваешь, — помни, что поступаешь дурно...

Интересно указать, к слову, как на эту высшую мудрость Андрея Болотова ответил высшей марксистской мудростью Г. Плеханов в своей статье об этом романе. „Можно ли убить?" — вопрошает себя то и дело Болотов: — в чем различие между жандармским полковником Слезкиным, убивающим революционера, и революционером, убивающим этого Слезкина? Вы понимаете, конечно, что вся

тяжесть этого вопроса для Болотова сводится только к новому вопросу — о неисполнении абсолютной этической нормы. Мы видели, что Болотов здесь не умеет еще более углубить вопроса и осмелиться взглянуть в глаза истине: общеобязательной нравственной нормы нет, и все же „человек—самоцель“ есть общий суб'ективный идеал. Болотов здесь гибнет в „об'ективном“ и не видит, что дорога спасения лежит в суб'ективизме. Г Плеханов, конечно, понимает дело „как раз наоборот“. По его мнению, вся беда Болотова в том, что он... не марксист! Если Болотов страдает и бьется, то „потому, что не достаточно вдумался в тот исторический процесс, ходом которого вызывается общественная борьба и определяются ее задачи“.

Я всегда поражаюсь подобной духовной близорукостью марксизма,—даже в лице его наиболее крупных представителей. Там, где дело идет только о социальных вопросах, марксисты сильны; но до чего беспомощны они, раз дело коснется того, что лежит „аршином глубже“! Разве в том дело, что „исторический процесс“ вызывает „общественную борьбу“,—когда человек страдает над вопросом этико-философским, который лежит в совершенно иной области, за тысячи верст от аргументов Г. Плеханова! Вечное бессилие марксизма, роковая поверхностность его философских теорий.

IV.

До сих пор я говорил не о самом романе, а о той „философии", которая лежит в его основе. Два пункта этой философии определяют всю внутреннюю сущность романа, и эти два пункта, говоря сокращенно,—„личность" и „кровь". Аксиома бессилия личности, глубоко анти-революционная, легла во главу угла этого романа о революции,—и, в результате, на сцене *нет революции*, а есть лишь различные революционные жесты, которые автор принимает за революцию. С другой стороны, во главу угла лег глубоко трагический вопрос о „крови", о том „можно-ли убить",—но герой романа не пошел дальше неразрешимого вопроса, не сошел с мертвой точки, не подвинулся ни на шаг в духовных поисках. И в результате—герой есть, но *нет трагедии,* нет роста души человеческой, нет рождения ее. Перед нами все время только тяжелая и неразрешимая *драма*, а драма тем и отличается от трагедии, что в трагедии человек осмысленно рождается, а в драме он случайно погибает.

И вот тут-то возникает основной вопрос: „было или не было?" Действительно-ли у нас не было революции? И действительно-ли не было трагедии в душевных переживаниях деятелей ее?

С вопросом „было или не было?" неизбежно подходишь к каждому значительному произведению; и уже одна постановка этого вопроса показывает, что я именно так оцени-

ваю роман „То, чего не было“: это произведение, несомненно, значительное. С таким вопросом не подойдешь к роману какого-нибудь из бесчисленных наших мастеров по части печения романов. Какое мне дело до того, было или не было то, что рассказывает, например, Чириков в своих романах „Юность“ или „Изгнание?“ Да Господь с ним· пусть все описанное там сплошная фотография, пусть, наоборот, все описанное там плод чистейшей фантазии—мне от этого ни тепло, ни холодно, я равнодушен к героям, к событиям, и для меня всего этого нет и *не было*. То есть реально-то оно, может быть, и было, но писатель не сумел быть художником, погубил жизнь сухими словами, не сумел заставить читателя поверить во все это. И когда автор неубедительной повести старается оправдаться тем, что-де все это было, что он писал факты, то всегда невольно хочется повторить слова Гегеля: тем хуже для фактов!

И наоборот: художник создает картину, которой веришь больше, чем груде мертвых протокольных фактов. То, что Достоевский сказал нам в „Братьях Карамазовых“—*было* в тысячу раз больше того, что протоколировал в своих романах Боборыкин. Действительность жизни идет рядом с действительностью художественного творчества,—и я верю, что *было* (хотя бы в глубинах нескольких душ человеческих) то, что открыл Достоевский в „Бесах“, но в то же время знаю, что не „Бесами“ характеризуется революционное движение начала семидесятых годов. Я знаю, что движение это и в малой мере не определено

романом Достоевского, но вижу в романе этом художественную истину, касающуюся, быть может, лишь одной тысячной части всего движения, но за то и углубившую безмерно эту малую долю

Не собираюсь сравнивать ни Ропшина с Достоевским, ни „То, чего не было“ с „Бесами“,—слишком велико расстояние между ними; но все-же аналогия между ними может кое-что пояснить. Когда я читаю роман В. Ропшина и спрашиваю себя: „было или не было?“, то часто отвечаю—*было*. И при этом мне не интересны отдельные факты. Вот, например, в самом начале романа, члены Комитета, Давид и Сережа, пытаются начать восстание среди солдат, нарядившись для этого в офицерскую форму. Говорят, с другой стороны, что таких фактов переодевания никогда не бывало. Охотно готов все такие факты отдать возражающим. Не в них дело. Дело в том, что общее впечатление от многих мест романа таково, что твердо говоришь себе: *было*. Но... но было так-же, как были „Бесы“ в семидесятых годах. То есть: в громадном движении 1905 года, несомненно, „было“ отчасти и то, что рассказывается в романе „То, чего не было“.

Небольшое отступление—и опять по поводу марксистов. Дело в том, что именно среди последних роман В. Ропшина возбудил наибольшее „партийное злорадство“: ага, вот что было в лагере народников! Верно; но все-же —чем кумушек считать трудиться, не лучше-ль на себя, кума, оборотиться? Среди всех групп и партий *было* то, что описывает

В. Ропшин. И когда я говорю себе: „было", то знаю, что во всех группах и партиях есть свои Арсении Ивановичи, свои Давиды, свои доктоpы Берги, свои Кольки и Мухи. Марксистов роман В. Ропшина касается ни на волос не меньше, чем народников...

Но не в этом дело, а в том, что я не менее твердо знаю и другое: движение 1905-го и следующих годов даже в малой мере не определено романом „То, чего не было". Действительно-ли не было революции?—на этот вопрос, неизбежно вытекающий из романа, у меня нет двух ответов. Действительно-ли не было трагедии в душевных переживаниях деятелей ее?—и здесь ответ несомненен, и право на такой ответ лежит в личном опыте многих и многих.

У Андрея Болотова такого права не было. С ним происходит только та „псевдо-трагедия", которая может лишь по недоразумению считаться подлинной. Ибо, повторяю еще раз: между драмой и трагедией та разница, что драма есть смерть человека, а трагедия—духовное рождение его в муках и страданиях. Но муки, страдания—они и в драме на лицо, не ими определяется трагедия души человеческой. Андрей Болотов жил и работал; пришло время—и заболел он неотвязным вопросом—мы знаем каким. Но мы знаем также, что ни на один шаг не подвинулся он вперед, страдая над этим вопросом о нравственной норме. „Поступая так, знай, что поступаешь дурно"—это ответ не героя трагедии, это вопль затравленной жертвы драмы. И когда автор старается рисовать возрастающую ра-

дость и спокойствие Андрея Болотова, мы не верим его стараниям, ибо чувствуем, что этого „не было". Когда, перед смертью, Болотов с молитвенной верой говорит восторженные слова о великом русском народе и о революции, в них нет рождения человека, не видишь, не чувствуешь радости рождения. Он весь прежний, и его радость и спокойствие не должны иметь места. Это именно то, чего „не было", ибо не должно было быть.

О других героях не говорю: Андрей Болотов - главный. И уже беспримесная драма—смерть Миши Болотова от шальной пули; такая же драма—смерть Александра Болотова в минуту поражения и разгрома. А та душевная трагедия, которую, несомненно, пережил Александр Болотов, перерождаясь из лейтенанта российского флота в члена революционного комитета—осталась за кулисами, автор нам ее не показал. „Три брата"—главные герои романа—гибнут в муках и страданиях, но не рождаются, гибнут, как жертвы тяжелой и безвыходной драмы, а не как герои осмысленной внутренно трагедии. О других действующих лицах нечего и говорить. Нет трагедии; но она *была*. Нет революции; но ведь и она *была* тоже.

А раз нет трагедии, то нет и „философии" в романе—той глубокой, жизненной философии, которая создается только душевной трагедией героев. Я не говорю о той „исторической философии", которую мы видели и которая была построена (или заимствована) чисто головным путем и выразилась в теории бессилия личности. Не об этой философии

здесь речь, и не ретортным путем рождается такая философия. Вспомните „Войну и мир". Там за формулой исторического фатализма, глубоко под нею, была внутренняя жизненная философия, рожденная от душевной трагедии. Пересекающаяся душевная трагедия князя Андрея и Пьера приводила к той глубочайшей философии жизни, которая составляет внутренний смысл всего романа: *Жизнь есть все. Жизнь есть Бог.* Величайшее приятие мира, приятие жизни—вот основа, начало и конец этой мировой эпопеи, вот последняя философия всего романа.

Конечно, никакой роман не выдержит такого тяжелого сравнения; но я и не собираюсь сравнивать „Войну и мир" и „То, чего не было". Дело не в их относительной величине, а только в факте: никакой подобной внутренней философии нет в романе В. Ропшина. Здесь он свободен от влияния Толстого. И лишь на последней странице романа автор пытается сказать словами то, что должен был бы сказать внутренним развитием всего романа: о вере в народную, рабочую Русь, о вере в народ, в дело его освобождения, в обновленный, на любви построенный мир, о вере в вечную правду... Но ведь это только декларация; делом художника было—показать эту вечную правду за той накипью и пеной, которую автор, по его же словам, показал в своем романе... Но пену он *показал*, а о вечной правде, таящейся в глубине, только *сказал*...

V.

Теперь не трудно и подвести итоги, сказать о значении романа В. Ропшина, о его месте в литературе, о его художественной ценности. Я уже сказал, что произведение это представляется мне литературно значительным; теперь прибавлю: роман этот—значительное *беллетристическое* явление, со многими *художественными* штрихами.

Следует сохранить это старинное, еще от Белинского идущее подразделение литературных произведений на „беллетристические" и „художественные". Разница между ними как раз в том и состоит, что художник—*показывает*, а беллетрист—*рассказывает*. Так, в „Антоне Горемыке" Григорович прекрасно рассказал нам о бедном мужике и об его судьбе; а Толстой в „Поликушке" художественно показал нам подобного мужика. Грань между художником и беллетристом провести иногда очень трудно; часто и беллетрист может дать художественные черты в своем произведении, иногда и художник может сойти до „беллетристического" рассказывания. Но вряд-ли будет сомнение в главном—например, в том, что Шпильгаген—типичный беллетрист, а Тургенев—явный художник; что беллетрист—Ауэрбах („Дача на Рейне"), а художник—Мопассан и т. п.

Беллетристов—много, художников — мало. Иногда появляется беллетрист с очень многими чертами художника. Он рассказывает, а мимоходом вдруг удастся ему портрет, тип, картина, и мы тогда видим ее, а не только

слышим о ней. Таким беллетристом представляется мне В. Ропшин: он на половину рассказывает, на половину показывает. И там, где он показывает, где ясно видишь лица и события,—там невольно и с убеждением говоришь: *было!* А лишь только он начинает рассказывать, как лица расплываются в тумане, писатель перестает убеждать, и столь же твердо заключаешь: *не было*! Ибо художник видит и то, чего не было, а беллетрист губит и то, что было...

Художник *должен* видеть и заставлять нас видеть. Он должен ярко и ясно помнить лица своих героев, и так-же ясно знать и видеть их души; он чувствует время действия, он как дома в месте действия. Плохо дело, если он не чувствует, не знает, не видит: значит он только—беллетрист, у которого героиня может оказаться сразу и блондинкой, и брюнеткой, а действие будет происходить сразу и зимой, и летом. Кстати, небольшой курьез в виде примера. Один ученый профессор написал недавно большую статью, в которой доказывал, что Гоголь все время путал время действия в „Мертвых Душах": действие происходит летом, а Чичиков вдруг оказывается в шубе,—в шинели „на медведях"!.. Почтенный профессор не догадался, что на Чичикове была летняя шинель, отороченная „медведем",— и приписал Гоголю ошибку заурядчейшего беллетриста...

Все эти мелочи имеют иной раз не малое значение, когда изучаешь писателя и когда вдруг, по какой нибудь „мелочи", сразу почуешь в нем художника... или беллетриста.

Последнее часто испытываешь, читая роман В. Ропшина. Он часто *не видит* того, о чем рассказывает, особенно в описаниях природы. Ему ничего не стоит, например, рассказать читателю, что весною одновременно колосится овес, желтеет рожь, распускается сирень и вкусен зеленый крыжовник; или что в мае, опять-таки одновременно, зацвели ландыши и заголубели в лесу фиалки... Пусть все это пустяки, в которых сказывается городской житель; я бы не останавливался на них, если бы иногда В. Ропшин не переносил свои ошибки с цветов на души человеческие. Когда на одной странице автор рассказывает нам, что террорист Ипполит не мучился сомнениями, что он был нечувствителен к сердечным тревогам, знал что должен умереть и убить, и не возвращался к этому вопросу,— а на соседней странице о том же Ипполите говорится, что каждую минуту его мысли были отравлены убийством и кровью, и что даже удачное покушение для него источник неисчерпаемой муки,— то читатель сразу видит, что души Ипполита автор не чувствует, что он о нем только рассказывает и бессилен нам его показать. Но рассказывает он—как хороший, выровнявшийся беллетрист, освободившийся от наносной манеры „Коня бледного".

Есть, конечно, еще всякие шероховатости и ненужности, иногда чисто стилистические. Так, например, надоедают частые „сравнительные периоды" — куда их столько! То вдруг прорвется мелкое подражание, и солнце, по рецепту Ф. Сологуба, обратится во „всемогущего дракона"... Что хорошо у Ф. Соло-

губа, то плохо у В Ропшина. Наконец, постоянное действующее лицо—Большая Медведица, то хвостом вверх, то хвостом вниз: я бросил уж и считать, сколько раз появилась она на небе в течение романа!..

Но, конечно, все это мелочи, не в них дело. Не надо к тому же забывать, что роман „То, чего не было"—только второе произведение В. Ропшина, что писатель в нем еще вырабатывается, и что уже теперь мы имеем в нем крупного беллетриста, в котором порою чувствуется художник. И роман его во всяком случае—значительное явление, имеющее вполне определенный и общественный, и литературный интерес.

Но именно потому и можно, и должно указывать на те стороны романа, которые не позволяют ему занять в литературе более высокое место, соответственное тому шуму, который был вызван им. В романе этом *нет революции*, хотя он и роман о революции; в романе этом *нет трагедии*, хотя автор все время старается построить ее. Но все это „было" в жизни, хотя и „не было" в романе. Есть, однако, и другое,—что одинаково „было" и в жизни, и в романе „То, чего не было". Это—та „пена", те „брызги", которые неизбежны всюду, где только разбиваются о берег валы. Брызги В Ропшин, повторяю, изобразил в романе, а о вечной правде валов только „сказал" в заключительных строках. Но хорошо, что хоть сказал, ибо, поистине, только в этой жизни моря, только в этом постоянном движении вперед—та вечная правда, которая была, есть и будет.

1913 г.

ОСИПЫ И НИКОДИМЫ.

I.

„У Карла есть враги!..“

Так в какой-то опере трагическим шепотом сообщает „в публику“ певец, косясь одним глазом на суфлерскую будку и на палочку дирижера. Его партнеры по сцене стараются сделать вид, что поражены и потрясены этим известием. А публика—равнодушна. подумаешь, новость сообщил! У всякого Карла всегда есть враги, и чем Карл этот больше, тем и врагов у него больше. Врагов у Карла Великого—конца края не было!

Есть враги и у заветов... Не подумайте, что я говорю о журнале „Заветы“: ничуть не бывало! Враги журнала „Заветы“ — да пускай существуют себе на доброе здоровье, „Заветам“ на пользу, читателям на утешение... Нет я говорю о заветах в более широком смысле, говорю о вековой традиции, говорю о символе веры русской социалистической интеллигенции. Вот у этих заветов есть старые „враги“, поднявшие свое забрало вскоре после 1905 года. И незачем трагическим шепотом сообщать об их существовании: они и так на виду, статьи пишут, оружием бряцают.

Вот, например, две статьи Петра Струве: „Оздоровление власти“ и „Почему застоялась наша духовная жизнь?“ („Русская Мысль“ 1914 г., №№ 1 и 3): они в значительной мере посвящены как раз борьбе с заветами русской интеллигенции. Статьи эти настолько симптоматичны, что на них следует остановиться, следует поинтересоваться вопросом— какими силами пытаются эти „враги“ разрушить тот храм, на месте которого ничего создать не могут?

Ничего не могут создать,—полно, так ли? А разве не предлагает Петр Струве целую „идеологию“, и теоретическую и практическую, для возведения ее на развалинах заветов? Его социальная программа—не то, что пресловутая „история мидян“, которая была „темна и непонятна“; нет, его социальная программа очень ясна и очень понятна, она проста и немногосложна, — она противопоставляет социалистическим „утопиям“ нечто твердое, ясное и определенное: „здоровую власть“, опирающуюся на „средние классы“. Дело в том, по мнению автора этой „идеологии“, что в 1904—1906 г.г. случилось великое событие: „химическое соединение народа и интеллигенции в революции“. После такого соединения „народ“ безвозвратно отпал от „идейных основ старого порядка“, и возвращение к этим основам для него уже невозможно. Таким образом „власть“, в своей борьбе с „интеллигенцией“, опиравшаяся в былое время (до 1905 года) на „народ“, осталась теперь без точки опоры, в положении неустойчивого равновесия. В этом—болезнь власти, и болезнь

эта может привести к катастрофе: „постепенное наростание государственной смуты, в которой средние классы и выражающие их умеренные элементы вновь будут оттеснены на задний план стихийным напором народных масс, вдохновляемых крайними элементами“... Спасение—только в одном: в „оздоровлении власти“. „Власть“ должна заблаговременно опереться на „средние классы“, чтобы совместно противодействовать „народу“ („народным массам“), вдохновляемому „интеллигенцией“ („крайние элементы“). Такова несомненная, хотя и сокровенная, формула политической программы г. Петра Струве: *„интеллигенция“ соединилась с „народными массами“, „власть“ против них должна соединиться со „средними классами“* *).

Формула очень яркая, хотя и очень старая; она, конечно, резко противоположна всем былым заветам русской интеллигенции... Напрасно только сам автор как будто конфузится чрезмерной яркости такой формулы и старается прикрыть ее обнаженность различными оговорками: что-де „средние классы“ не надо противопоставлять „народу“, что-де это еще Аристотель воспрещал делать, что-де средние классы (почему-то вдруг обратившиеся в „элементы“) всего более народны и „поэтому-то они и суть средние“ (!?), и так далее,

*) Эту формулу Петр Струве стыдливо предоставляет выразить в явном виде самому читателю... Но что мысль его нельзя сформулировать иначе—ясно из того, что не один я понимаю ее именно так, а даже и Павел Милюков, лидер партии, к которой пока принадлежит Петр Струве (см. „Речь“ 1914 г., № 51).

и так далее. Зачем все эти расшаркивания, совершаемые с медвежьей неповоротливостью? Надо уметь быть последовательным до конца, и нечего бояться ясности и резкости выводов: чем яснее, тем лучше. „Власть“ в союзе со „средними классами“ против „народа“, соединившегося с „интеллигенцией“: вот блестящая политическая и социальная программа Петра Струве! Можно ли после этого говорить, что он ничего не в силах создать „на месте святе“—на том месте, где русская „интеллигенция“ вела вечную борьбу за „народ“, сперва против „власти“, а позднее и против „средних классов“?..

Теперь ясно, почему Петр Струве должен волей-неволей вести борьбу против *заветов* русской интеллигенции: заветы эти и его социально-политические идеалы, это—полярные противоположности, „волна и камень, лед и пламень“... И вот почему от подобных „анти-заветских“ социально-политических идеалов краснеют даже „кадеты“, поскольку они хотят быть „демократами“ и поскольку они хотят чувствовать свою связь с былыми заветами русской интеллигенции *). Вот почему также оруженосцы Петра Струве всячески стараются помочь своему патрону, и, чтобы не оставить его (подобно „власти“!) без точки опоры, услужливо ищут другие какие-нибудь „заветы“, чтобы на них мог он опереться...

---

*) В этом отношении характерна упомянутая выше статья Павла Милюкова „В тисках доктрины“—как бы ответ на статью Петра Струве. Это единоборство кадетских Петра и Павла определяет весь диапазон политической мысли современного кадетства.

Нельзя же и им без заветов, нельзя же строить на воздухе! И вот они стараются, в той же „Русской Мысли“:

„...Конечно, „заветов“ надо искать не у Михайловского, не у Чернышевского, Лаврова и Бакунина. Их историческая роль велика. Много поколений от них получили источники социально-политического идеализма. Но если искать в прошлом реальных мыслей для предстоящего устроения страны на конституционно-демократических началах, то надо обратиться к другим деятелям нашего прошлого: к Сперанскому, декабристам, Герцену, Тургеневу, Драгоманову“...

Ах, эти услужливые оруженосцы! Они всегда опаснее врага. Нашел, нечего сказать: „заветы“ для Петра Струве нашел не в ком другом, как в... Герцене! Сперанский—это еще куда ни шло: всякое в нем было, и „либерализм“, и тоже формулы „оздоровления власти“... Декабристы—тоже разные были, но все-таки до борьбы с „народом“ и „интеллигенцией“ (хотя бы в других терминах) среди них никто не додумался... И подлинные „либералы“ наши—Грановский, Кавелин и немногие другие—вероятно, не менее решительно отгородились бы от современных идеалов Петра Струве, чем отгораживается теперь от этих идеалов современный либерал Павел Милюков... Нет, пусть уж оруженосцы оставят поиски своих предков и своих „заветов“ в этом направлении; и пусть особенно не хватаются за чуждых им представителей подлинных заветов русской интеллигенции. Ибо Белинский, Герцен, Чернышевский, Лав-

ров, Михайловский—вот непрерывная нить выявителей наших заветов, резко враждебных в настоящее время Петру Струве и всем, иже с ним.

II.

В бесплодных поисках „точки опоры" и приспособленных для себя „заветов", эти современные социально-политические Архимеды, наконец-то, находят желаемое. Эврика! Пусть у нас остаются Герцен, Лавров и Михайловский, пусть остаются у нас вечные заветы русской социалистической мысли: у них тоже есть своя историческая „идеология", свои собственные „заветы"! Вы догадываетесь, —не правда ли? Ну, конечно же „Вехи", изданные в 1907 году и давно уже благополучно забытые, „Вехи" и авторы их, все те же г.г. Струве, Гершензон, Франк, Изгоев и прочие, целая седьмерица! Правда, они сами потомки, они же сами свои предки,—но ведь недаром знаменитый человек сказал гордую фразу: я сам свой предок! Правда, сравнение этих двух линий „идеологов" оказывается несколько—ну, скажем, неудобным: Герцен и... Струве! Михайловский и... Изгоев! Как-то неловко даже иронически сочетать хоть на минуту такие имена... Но что поделаете! Таков факт. Наши заветы— от Герцена и Михайловского; „заветы" Петра Струве—от „Вех", от господ Струве и Изгоевых! Они—сами свои предки...

И вот эти „самопредки", чтобы укрепить обретенную „точку опоры", начинают

патетически восхвалять своих предков,—тобишь самих себя,—восхвалять „Вехи". Эти самые „Вехи", оказывается, „проникли в умы русской интеллигенции"! Эти самые „Вехи", оказывается, „дали толчок, быть может, еще не замеченной и не сознанной, но весьма значительной критической работе. С двух концов"... Хотите знать подробнее об этом прелестном толчке с двух концов—обратитесь к статьям Петра Струве. Он расскажет вам, как „Вехи учили, с одной стороны, общественному реализму": и правда, плоды налицо. Ибо союз власти со средними классами—поистине вполне реалистический „общественный идеал", не так ли? Он расскажет вам дальше, как „с другой стороны, материализму и нигилизму интеллигентского миросозерцания „Вехи" противопоставили религиозный идеализм"... И он тоже прав: ибо где же и искать санкции союза „власти" со „средними классами" (против „народа" и „интеллигенции"!), где же и искать этой санкции, как не в „религиозном идеализме"! И еще многое другое расскажут вам эти „самопредки", патрон и оруженосцы. Вы узнаете, что „место „Вех" в развитии русской духовной культуры может быть понятно и оценено лишь в контексте развития общечеловеческой мысли" (вон куда метнул!), что авторы „Вех" скорбели об интеллигенции и призывали к „оздоровлению" ее, что призыв этот был услышан, и что с тех пор „оздоровление интеллигенции" происходит непрерывно и по сию пору. Вот какое незаметное, но колоссальное влияние оказали „Вехи" на русскую жизнь,—„поскольку

книги влияют на смену идейных течений",— вот какие блестящие „заветы" имеют за собою эти самопредки!

Со стороны—очень забавно смотреть на этих гордых предков и очень забавно слушать все эти их уверения. Ведь все мы как нельзя лучше знаем, что „Вехи" прошли мимо жизни, скользнули по поверхности, наделали только шума, а моря не зажгли. Полный крах всех этих „кающихся разночинцев" из „Вех" определился уже давно; совершенно ясна та почва, на которой родились „Вехи"— этот несомненный симптом после-революционной болезни русской интеллигенции. И вдруг они же записывают себя в „оздоровители"! Они, проповедывавшие примат „внутренней жизни" над „общественными формами", сдали уже давно все свои позиции, готовы всякими путями получить удобную для себя „общественную форму" — хотя бы путем союза „власти" и „средних классов", мы это знаем,— и они же делают вид, что победа на их стороне! Прежде они доказывали в „Вехах", что „интеллигенция" и „народ" неслиянны и враждебны, что между ними пропасть—„метафизическая рознь", что „народ" ненавидит „интеллигенцию", да к тому же ненавидит не просто, а „с бессознательным мистическим ужасом"; в этот „мистический ужас" они возвели естественное недоверие крестьянина к „барину" (продолжающееся отчасти и поныне). Так вещали они, кабинетные пророки, в своих „Вехах". Теперь мы—о, удивление!—слышали только что от них признание, что еще до появления „Вех" произошло „химическое

соединение народа и интеллигенции в революции“.. Вот какой с Божьей помощью поворот' Полный крах „идеологии“—и осанка победителей турнира...

Не в этом, однако, дело,—дело не в полном провале „Вех“ и не в забавной попытке этих самопредков отстоять свое достоинство. Не стоит также спорить по существу с их последними сенсационными открытиями, ибо „химическое соединение народа и интеллигенции“ после 1904—1906 г.г.—это такой же сущий вздор, как прежние открытия о „мистическом ужасе“ и „метафизической розни“. Мне в свое время приходилось (и как раз по поводу „Вех“) указывать, что слияние „интеллигенции“ и „народа“—в не критическом смысле этих слов—несомненно имело место, но было только временным, только кратковременным, на те несколько месяцев конца 1905 года, когда исчезли рогатки, искусственно отделявшие искони „интеллигенцию“ от „народа“. Слияние, конечно, произошло, и произошло как раз в то время, когда господа „вехисты“ собирались уже из глуби своих кабинетов поднимает вопль о метафизической розни и мистическом ужасе... Но „слияние“ это, повторяю, было только временным; а позднее в „народе“ начался процесс такой резкой дифференциации, что говорить о слиянии „интеллигенции“ с „народом“—вообще представляется невозможным. Не говорю уже о совершенной бессмысленности противопоставления этих многосмысленных терминов,—об этом мне приходилось высказываться уже много раз.

Но, еще раз,—не в этом дело. И „химическое слияние", и „метафизическая рознь"—одинаковый вздор „с двух концов". Дело не в ошибках авторов „Вех" тогда и теперь; дело—в главной задаче „Вех", в их явной миссии, в их затаенной мысли. Эта миссия—*борьба с социализмом*, и задачу эту Петр Струве с товарищами выполнял не за страх, а за совесть. В целом ряде статей этот автор констатировал кончину социализма, находил в нем „facies hippocratica", говорил о разложении социалистической идеологии. Он выражал надежду, что „в процессе экономического развития интеллигенция обуржуазится", и благодаря этому внешнему условию, она одновременно испытает и идейный кризис—отойдет от социализма на путь „Вех", на путь „общественного реализма" и „религиозного идеализма"... К чему привел этот путь Петра Струве—мы теперь знаем; но мы знаем также, что совершает он этот путь в блестящем одиночестве, не имея за собой даже ничтожнейшей „интеллигентской группы" (оруженосцы—не в счет!) И недаром ему теперь приходится жаловаться на свою от'единенность от всей „интеллигенции", от всех социально-политических групп: „мы должны — скорбит Петр Струве—излагать мысли не канонизированные, говорить и развивать вещи, чуждые народникам и марксистам... и даже несколько shoking для кадетов"...

Да, одиночество блестящее. Предсказания и гороскопы провалились. „Священный Вестов огонь традиционной русской идеологии"—(иронические слова Петра Струве)—не потух,

несмотря на словесные водопады „Вех", а эти „Вехи" оказались соломенными и никого не заманили на свою дорогу. И вот оставшийся в одиночестве Петр Струве снова берется за перо, чтобы еще и еще раз убедить слушателей, что „Вехи" одержали громадную победу, а былые заветы совсем, совсем погибли, разложились, исчезли... Ах, „у Карла есть враги", это давно известно; но знаете что? если все эти враги столь же неудачно трубят победу после поражения, то, право-же, „Карл" может чувствовать некоторое ироническое удовлетворение...

III.

Доказывать полноту жизни исконных заветов русской интеллигенции — дело праздное: сама жизнь должна это показать в свое время. И никакие „враги" не помешают дальнейшему развитию заветов, и никакие „друзья" их не скомпрометируют. А ведь известно, что друзья опаснее врагов. Вот и Петр Струве, повидимому, не прочь попытаться скомпрометировать „активное народничество" указанием на дружбу, питаемую к нему „религиозным народничеством" Д. Мережковского и его сателлитов из петербургского религиозно-философского общества. На этой попытке надо остановиться, чтобы еще раз—и в последний раз—отказаться от той дружбы, которую предлагает Петр Струве.

Он говорит о „противоестественном соединении мистического христианства с политическим радикализмом", как о сущности „рели-

гиозного народничества" Д. Мережковского, и прибавляет, что „разные почтенные люди, пишущие о русской общественности", склонны снисходительно относиться к религиозно-радикальным писаниям этого новоявленного друга социалистической интеллигенции. В борьбе с реакцией все, мол, пригодится. „Подавай все! Все пойдет в прок! Что там? Веревочка? Давай и веревочку—и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно"... Так будто бы относятся к Д. Мережковскому современные Осипы русской общественности. Кто эти Осипы, они же „почтенные люди, пишущие о русской общественности"—затрудняюсь сказать, спрашивайте у Петра Струве; но твердо знаю, что к этим „почтенным людям"—увы!—не принадлежит никто из продолжающих в настоящее время традиции русской интеллигенции. В частности, мы давно уже подчеркивали, что социалистической русской интеллигенции с Д. Мережковским не по дороге. И не потому, что его „народничество" религиозное, нет; а потому, что религия его—мертвая, сухая, словесная, лишенная духа жизни.

Мне уже пришлось с достаточной подробностью говорить на этих страницах о наших религиозно-философских обществах, об их руководителях, в частности о Д. Мережковском. Руководители в свое время возражали, печатно отказывались от слов, которые они несомненно произносили на заседаниях, находили мою статью непомерно резкой и выражали надежду, что я раньше или позже „образумлюсь". Боюсь, однако, что я так и

пребуду нераскаянным грешником, ибо новые факты, имеющие непосредственное отношение к общественности, всецело подтвердили все то, что раньше я говорил о нынешнем идейном вдохновителе религиозно-философского общества—о Д. Мережковском и о самом этом обществе. А говорил я (их же словами) о „религиозном блуде", о мертвенности слов, о их несоответствии с делами... Но никогда я не думал, что так скоро мое „суб'ективное" мнение окажется подкрепленным „об'ективными" данными.

Недавно по очень характерному поводу было опубликовано несколько писем Д. Мережковского к покойному Суворину, издателю и руководителю „Нового Времени", — того самого „Нового Времени", которое еще Салтыков-Щедрин обессмертил под именем газеты „Чего изволите", издаваемой литератором Подхалимовым. Этот литератор до того „широк" и „либерален", а газета до того „внутренне свободна", что „ни завтра, ни после завтра не намерена стеснять себя никакими узами",— такова программа газеты „Чего изволите", по едкому слову Салтыкова-Щедрина. И вот к издателю такой газеты, к человеку, общественная физиономия которого достаточно выяснена, обращается с целым рядом писем Д. Мережковский. В одном из них, в письме конца 1903 года, он просит о субсидии для издания журнала „Новый Путь", указывая, что с главными деятелями этого журнала, с В. Розановым и им, Д. Мережковским, у него, Суворина, так много общего! „С нами двумя у вас есть столько общего, что, без сомнения, через нас

(даже не как литераторов, а живых личностей), вы будете иметь внутреннюю связь с журналом... Конечно, только при взаимном доверии осуществима такая связь... Мне чувствуется, что между нами есть взаимное понимание, вне всяких узких литературных партий и предрассудков. Все трое: вы, Розанов и я, мы—люди широкие, внутренно свободные, в высшем смысле либеральные"... О, бессмертный Салтыков-Щедрин! Ты за четверть века приложил к издателю газеты „Чего изволите" эти-же самые хвалебные эпитеты! Но кто бы мог поверить, что Д. Мережковский сравняется по „внутреннему либерализму" с литератором Подхалимовым!

Все это очень нехорошо, но тут есть еще кое-какие оправдания. Письма эти Д. Мережковский писал в 1903 году, когда он еще восхвалял мистическое самодержавие и проповедывал в этом же журнале „Новый Путь" скорое наступление светопреставления. Но ведь с тех пор с ним случился душевный переворот — после событий 1905 года; ведь от мистического самодержавия он обратился к религиозной общественности; ведь теперь он, устами своих оруженосцев, тщетно отрицает даже былую свою проповедь скорого светопреставления, напечатанную в его книгах черным по белому,—вот какой с Божьей помощью поворот! Очевидно, отвернулся он в это время и от Суворина; по крайней мере, теперь Д. Мережковский заявил, что он с резкостью осудил общественную деятельность Суворина в одном из позднейших писем к нему. Появилось в печати и это последнее

письмо,—письмо, начинающееся обращением „дорогой“ и заключающееся подписью „сердечно ваш“... В нем прозревший Д. Мережковский нападает на газету „Чего изволите“, заявляет, что „я — враг „Нового Времени“, а следовательно и враг Суворина“... Не такой уж, повидимому, жестокий враг: он все же еще „сердечно ваш“! И это в конце 1911 года...

Но никакое самое резкое письмо не загладит впечатления от еще одного из опубликованных писем, написанного в 1909 году— в то самое время, когда Д. Мережковский издавал свою книгу „В тихом омуте“ и заигрывал с активным народничеством. Ах, в этой книге так много радикальных слов, такой резкий разрыв в ней с былым, до-революционным мировоззрением! Еще бы: ведь как раз в эти по-революционные годы Д. Мережковский осознал свои былые ошибки, наметил свой „новый путь“! И, вот, посылая эту свою книгу Суворину, Д. Мережковский в письме „очень просит“ дать об этой книге отзыв в газете „Чего изволите“. „Что вы сами напишете (отзыв), я уже и надеяться не смею!“—пишет Д. Мережковский... И он пишет это издателю газеты „Чего изволите“ в то самое время, когда в статьях своих всячески старается связать себя с традицией русской активной интеллигенции. Мертвые статьи, мертвые слова!..

Как совместима, по мнению Д. Мережковского, эта двойная бухгалтерия с общественной работой—я не знаю. Но я знаю, что лицо Д. Мережковского, как общественного деятеля, навсегда раз'яснено этими письмами. А

имеются еще и другие письма к Суворину, в которых Д. Мережковский напоминает, как он „прибегал к нему (Суворину) по ночам, как Никодим"... Этим Никодимам не по дороге с русской интеллигенцией, которую они восхваляют в своих дневных статьях, а потом бегают ночью для духовных бесед к издателю газеты „Чего изволите". И какое кощунство для верующего христианина, каким об'являет себя Д. Мережковский! С кем сравнивает он этого издателя Подхалимова, раз себя именует Никодимом, по ночам прибегающим к нему!

И вот кого хочет навязать Петр Струве в друзья русской интеллигенции! Вот кого якобы приемлют в союзники „Осипы русской общественности"! А сам Петр Струве в это время накладывает на „словесный радикализм" Д. Мережковского „клеймо величайшего опортунизма и крикливой неразборчивости". Если вспомнить, однако, что до середины 1913 года Д. Мережковский с оруженосцами принимал достаточно близкое участие именно в „Русской Мысли" Петра Струве, то не ясно ли, кто является „Осипом русской общественности"? Сумеет же человек так жестоко определить сам себя!

Нет, с этими Осипами и Никодимами— русской социалистической интеллигенции не по пути. Пусть Д. Мережковский был Никодимом Суворина, а Петр Струве был Осипом Д. Мережковского,—нам-то что до того? И тот, и другой равно далеки от традиций русской интеллигенции. И когда один из них желает навязать

нам в союзники и друзья другого, то мы благодарим за любезность и—отказываемся. Ведь уже давно известно: избавь нас, Боже, от друзей, а с врагами мы сами справимся!..

IV.

С врагами мы сами справимся. Это не значит, конечно, что мы их „шапками закидаем": враги русской интеллигенции всегда были внешне сильными, а сама интеллигенция никогда не была настолько хвастливой, чтобы употреблять эту формулу квасного патриотизма. С врагами мы сами справимся,— о, конечно, это будет еще не скоро, ибо на место одного поверженного врага станет другой, более опасный, ибо головы лернейской гидры отрастают; все это так. И если несмотря на тяжелый, длинный и тернистый путь, по которому полтора столетия подвигалась вперед русская интеллигенция, отмечая гибнущими жизнями каждый завоеванный шаг пути, если несмотря на это веришь в грядущие достижения, то только оттого, что знаешь силу заветов прошлого русской интеллигенции и уже на них строишь свои чаяния будущего.

Заветы прошлого... Для Петра Струве это— жупельное слово, которое он пытается похоронить, признать мертвым; а так как заветы все-таки живы, то он винит в этом ...реакцию! „До сих пор дело обстоит так,— поучает он слушателей:—есть реакция и есть заветы. Реакция об'единяет Россию в ненависти к себе и в решимости борьбы с защищаемыми ею порядками. Это практическое об'единение, как

оно, с чисто политической точки зрения, ни существенно для силы удара, замораживает и обеспложивает работу мысли. На место нее стали заветы, стал культ угодников и легенды о них, поминки мертвых и юбилеи живых"... И вот за это-то „замораживание мысли" Петр Струве и „ненавидит" современную реакцию. Похвально. но вряд ли справедливо. Ибо реакция не заморозила же и не обеспложила работу мысли самого Петра Струве! Ведь сумел же он, например, в эпоху реакции, создать свой проект об оздоровлении власти! И не будь у нас реакции, разве додумался бы он до столь ярко прогрессивного проекта! Неужели же не видно самому автору этого проекта, что желуди „оздоровления власти" растут именно на дубе реакции!.. Так что подрывание им корней реакции — труд и несправедливый, и неблагодарный...

А заветы, а „культ угодников", а легенды о них? Да, у нас есть „культ" великих людей прошлого, выявителей заветов, связанных тесной преемственностью в истории русской интеллигенции. И только тогда эти заветы прошлого начинают умирать, когда пропитываются догматизмом, когда „традиция" заедает живую жизнь, когда вместо вечного творчества воцаряется спокойное и довольное собою ортодоксальное мещанство. Есть ли такие черты в традиционной идеологии русской интеллигенции? Конечно, есть. Ибо они везде есть, ибо во всякой живой ткани постоянно отмирают старые клетки, постоянно зарождаются новые, а организм все же живет, как нечто единое. Отмирает то, что ли-

шается духа творчества, что покоряется духу самоудовлетворенности, что становится чуждым вечному исканию—единой движущей силе человеческого духа. И если бы заветы были тем камнем, который загораживает дорогу всяким исканиям, то, конечно, участь их была бы предрешена: отмирает все, что недвижимо остается на месте. Но в том-то и дело, что заветы наши—не мертвый, косный камень, а живая, вечно растущая ткань. В них отмирает одно, в них оживает другое, и все-таки они продолжают жить, как одно целое, как вековая идеология русской социалистической интеллигенции.

Да, „заветы" вечно живы, и — живы, конечно, не по воле „реакции": ах, она охотно бы проглотила их, и вот уже сто лет только и делает, что „глотает", но безуспешно, как та щука из сказки, которая никак не могла ерша проглотить... Заветы живы не по воле „реакции", а своею внутреннею силою, и сила их в том, что не на слепой традиции и догме они строятся. Заветы всего русского социализма покоятся на двух неизменных началах—на идее *блага народа* и на самоцельности *человеческой личности;* и до тех пор, пока борьба за благо народа вынуждает нас к строительству „общественных форм", а развитие человеческой личности требует от нас утверждения „внутренней жизни", до тех пор нам нечего бояться остановки на пути догматического склероза, ортодоксального мещанства. В свое время „Вехи" резко и определенно отстаивали примат „внутренней жизни" над „общественными формами", что пропо-

ведывалось уже не раз и всегда приводило к самому беспросветному духовному мещанству. С другой стороны, представители русской социалистической интеллигенции иногда перегибали палку в обратную сторону, отрицая важность развития „внутренней жизни“ и возлагая все надежды на эволюцию „общественных форм“. Так проповедывал, например, покойный ортодоксальный марксизм, и, быть может, в этом причина, почему он так скоро обратился в ортодоксальное мещанство. Спасение только в одном пути—в синтезе исканий „внутренней жизни“ с борьбою за „общественные формы“, в общественной работе за благо народа и в вечных новых исканиях самоцельной человеческой личности. Так заветы прошлого соединяются с чаяниями будущего, заветные традиции соединяются с новыми исканиями

Вот частный пример того синтеза, вне которого нет движения вперед: возьмем область искусства. В ней с одного конца подвизаются „чистые“ эстеты, чуждающиеся всякого „демократизма“: odi profanum vulgus et arceo!.. Какое им дело до „общественных форм“! Все они погружены только в мир „внутренней жизни“, копошатся в нем упорно и с пользою, но, жертвы глубины и узости, навсегда лишены они возможности широкого взгляда на мир, на жизнь, на людей. А вот и противоположный конец: люди „чистого“ демократизма, признающие только строительство общественных форм, презирающие „эстетов“ и относящиеся к искусству, как к вспомогательному материалу для своих общественных це-

лей; бессильные углубиться в чуждые им вопросы „внутренней жизни", они—тоже своеобразные жертвы вечерние. Но и те, и другие—отмирающие клетки человечества, и будущее закрыто и для тех, и для других. Будущее в этой области за теми, кто сумеет сочетать принятие глубины и грядущих задач искусства с широким традиционным демократизмом общественного созидания, заветы прошлого с достижениями будущего

Это относится к искусству, но это же справедливо и для научной, и для философской мысли, и для религиозных исканий и достижений. Напрасно поэтому Петр Струве так отстаивает в той же своей статье „самозаконность мысли": он ломится в открытую дверь, поскольку борется с подлинными заветами русской интеллигенции. Если же он борется с отставшими на пути, с догматиками, с ортодоксальными мещанами разных лагерей, то пусть не обобщает своей борьбы до степени крестового похода против всех заветов, против всей интеллигенции: ведь этот крестовый поход Петра Струве с оруженосцами против интеллигенции один раз уже окончился плачевно—полной неудачей „Вех". Стоит ли ему еще раз собираться в поход?.. На то, впрочем, его добрая воля.

Вообще „интеллигенция"—это такой удобный предлог поблестеть мечами, позвенеть щитами! Нападали и нападают на нее с разных сторон, чаще всего не отдавая себе ясного отчета в самом понятии и упорно смешивая с подлинной интеллигенцией все наше российское „культурное общество". Упрекают ее

за пренебрежение „внутренней жизнью", упрекают, наоборот, за чрезмерное внимание к ней; обвиняют в „минимализме", обвиняют в „максимализме"; упрекают и за заветы и за забвение их... Одним словом—„у Карла есть враги!" И на одном из этих „врагов" мне показалось интересным остановиться подробнее, чтобы разглядеть,—что же предлагают некоторые Осипы русской общественности взамен отвергаемых ими заветов русской социалистической интеллигенции?

Что они предлагают—мы видели, и с нас довольно: нам не по пути. Не по пути нам и с навязываемыми нам „друзьями", с Никодимами русской общественности. Наш путь—прежний, вековой путь русской интеллигенции, освещаемый заветами прошлого и ведущий нас к достижениям будущего. Ибо достижения эти зиждутся на заветах, а заветы эти ведут к новым исканиям и новым достижениям...

1914 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

стр.

Заветное 7

Русская литература «десятых годов» 10

Калиф на час 57

Черная Россия 68

Моховое болото и клопиные шкурки 98

Было или не было? 123

Осипы и Никодимы 149

Книги Иванова-Разумника:

1. **История русской общественной мысли.**
   В двух томах, 1906 г.; изд. 5-ое, в восьми частях, изд. „Колос", 1918—1920 г.
2. **Русская литература XX века.**
   Глава из 5-го изд. „Истории русской общественной мысли". Изд. „Колос", 1920 г.
3. **Об интеллигенции.**
   1907 г.; 2-ое, изд.—1908 г.
4. **О смысле жизни.**
   1908 г.; 2-ое изд.—1910 г.
5. **Великие искания.**
   Изд. „Прометей", 1912 г.
6. **Лев Толстой.**
   Изд. „Прометей", 1913 г.
7. **Литература и общественность.**
   Статьи публицистические, 1910 г.; 2-ое изд., „Прометей", 1912 г.
8. **Творчество и критика.**
   Статьи критические, 1912 г.; изд. „Прометей"; 2-ое изд., „Колос", 1922 г.
9. **Пушкин и Белинский.**
   Статьи историко-литературные, 1916 г.
10. **Перед грозой.**
    Статьи 1916—1917 г. *(Печатается,* изд. „Наш Путь").

11. **Год Революции.**

Статьи 1917—1918 гг. Изд. „Революционный Социализм", 1918 г.

12. **Александр Блок. Андрей Белый.**

Сборник статей; изд. „Алконост", 1919 г.

13. **А. И. Герцен.**

Сборник статей; изд. „Колос", 1920 г.

14. **Заветное.**

Статьи о культурной традиции

I. Черная Россия.—Статьи 1912—1913 г.
II. Вечные пути.—Статьи 1913—1914 г.
Изд. „Эпоха", 1922 г. *(Печатается).*

15. **Скифское.**

Статьи о духовном максимализме

I. Иго войны.—Статьи 1914—1917 г.
II. Две России.—Статьи 1917—1918 г.
Изд. „Эпоха", 1922 г. *(Печатается).*

16. **Оправдание человека.**

(Готовится).

Каталог Издательства „ЭПОХА“

Склад изданий: Петербург, Невский, 57

Андрей Белый.

Котик Летаев. Роман.
О смысле познания.
Поэзия слова.

М. О. Гершензон.

Ключ веры.
Судьбы еврейского народа. *(Печатается).*

Поль Верлен.

Избранные стихотворения в переводе Федора Сологуба. *(Печатается).*

Евг. Замятин.

Герберт Уэллс.
Чрево. Землемер. Рассказы. *(Распродано).*

Всев. Иванов.

Цветные ветра. Повесть.
Лога. Рассказы. *(Распродано).*

Николай Клюев.

Четвертый Рим.

Иванов-Разумник.

Заветное. I. Черная Россия.
„ II. Вечные пути. *(Печатается).*
Скифское. I. Иго войны. *(Печатается).*
„ II. Две России. *(Печатается).*

Федор Сологуб.

Заклинательница змей. Роман.
Соборный благовест. Стихи. *(Распродано).*
Чародейная чаша. Стихи.

Владислав Ходасевич.

Статьи о русской поэзии.

К. И. Чуковский.

Книга об Александре Блоке. *(Распродано).*
Книги о Некрасове:
1. Некрасов как художник.
2. Поэт и палач.
3. Жена поэта.

Ольга Форш.

Индрыгин сказ. *(Распродано).*

Сказки для детей. *(Вышли из печати).*

Джек победитель великанов. С рисунками В. Замирайло.
О глупом царе. С рисунками В. Ходасевич.
Похождения Чуч-ло. Рисунки и текст В. В. Лебедева.

Редьярд Киплинг. Слоненок. С рисунками В. Лебедева.

Владислав Ходасевич. Загадки. С рисунками В. Замирайло.